

Рамиль Сарчин

*ЛИКИ
КАЗАНСКОЙ
ПОЭЗИИ*

Казань – 2011

Сарчин Р. Ш.

Лики казанской поэзии / Вступ. статья Р. А. Мустафина; послесловие Р. И. Копосова. – Казань: Изд-во Казанского гос. ун-та культуры и искусств, 2011. – 232 с.

Эта книга – уникальное в своём роде издание, представляющее творчество наиболее значительных казанских поэтов, творивших и творящих во второй половине XX – начале XXI века.

Для меня Казань - мой отчий дом,
Смех друзей на утре молодом
И подруги облик незабвенный.
Много я прошел земных дорог,
Но найти я никогда не мог
Ей замены.

Для меня Казань - мой летний день,
На рассвете - сада светотень,
Соловьев бессонница при звездах,
Золото пахучего плода
И меня врачующий всегда
Свежий воздух.

Для меня Казань - рабочий люд,
И моя борьба, и светлый труд,
И земля, где жизнь всегда в расцвете.
Если я на ней оставляю след,-
Значит, я не даром столько лет
Жил на свете!

Для меня Казань - мои края,
Песня задушевная моя,
Что народной воле сопричастна.
Для меня Казань - словесный дар,
Город, где звучит язык татар
Полновластно.

Ахмед Ерикеев. Песня сердца

ОТЗЫВ ПРОСТОДУШНОГО ЧИТАТЕЛЯ

Менее всего я бы хотел, чтобы мой отзыв об этой книге претендовал на некую оценку – любая оценка сама по себе есть итог некоего суда. Дело даже не в заповеди «не судите», а в том, что для простейшего суждения о поэзии ли, или о литературоведческом исследовании нужна, как минимум, достаточная начитанность, ясное представление о современной поэзии – хотя бы русскоязычной в данном случае. Побуждаемый этим тезисом, заглянул я в интернет – и просто растерялся. Нет, отнюдь не умирает поэзия! Не уменьшается число пишущих стихи и мыслящих поэтическими образами – глаза разбегаются от обилия имён. И куда уж там выискивать в этом море жемчужины больших талантов, дай Бог успеть хотя бы пробежать строки уже признанных мастеров – их-то история и традиция накопили сколько! И как тут быть? Невольно закрадывается мысль, которую так старательно гонишь от себя: неужели настало время, когда поэтов читают только поэты, музыкантов (не о попсе речь) – только музыканты, и совсем понятными становятся тиражи в три, пять и даже (аж!) десять тысяч экземпляров у серьёзных прозаиков... Вывод очевиден: необходим отбор.

Тут опять высовывают свой острый нос публицистика и политиканство: ах, вы за цензуру, за советскую систему издательств-издевательств? Да, отвечу я, да. Потому что без отбора всё информационное пространство превращается в «белый шум», когда вокруг тебя бушуют все цвета радуги, но сменяют друг друга в стремительном калейдоскопе и превращаются в восприятии каждого отдельного «реципиента» в нечто слепяще яркое – и пустое. Оппоненты уже заготовили для меня новый (хорошо забытый старый) тезис: так для того, чтобы наслаждаться подлинной поэзией, надо потрудиться, надо знать законы поэтического языка – и т. п. Не хочу трудиться! Просто нет времени. Потому что надо «трудиться» и над восприятием живописи, и музыки, и много чего ещё. А они все сегодня так разрослись, так ушли кто вглубь, а кто в чистейший формализм, что я – самый обыкновенный человек – просто не имею времени на все эти труды. Р. Сарчин свидетельствует об этом же: «Неподготовленному читателю, не обладающему определённым интеллектуальным багажом, пожалуй, будет даже трудно проникнуть в суть некоторых стихотворений поэта» (в данном случае Алдошина – Р. К.). И я честно признаюсь, что нуждаюсь в специалисте-посреднике, который произведёт предварительный отбор и дружески посоветует: вот это не пропусти.

Такую работу и взвалил на себя Рамиль Сарчин, составляя свою книгу – одновременно и литературоведческое исследование и антологию. Здесь уместно сказать и о том фоне, на котором эта книга появилась. В Татарстане (опять-таки к приятному удивлению) трудами самих поэтов и писателей при поддержке соответствующих государственных органов сохранилась среда обитания талантов и просто пишущих людей. Выходят книги – не так много и не такими тиражами, как хотелось бы, но выходят. Учреждена премия имени замечательного земляка – Гаврилы Романовича Державина, уже несколь-

ким интересным писателям и поэтам она помогла поднять голову, поверить в себя. Заметным (особенно на фоне многих других регионов страны) событием стал выпуск альманаха «Аргмак»... В этом ряду работа Р. Сарчина видится как признание целого поколения казанских поэтов и как серьёзная попытка осмысления их творчества и места в литературном процессе.

Для каждого из них он находит точные слова, и мне понравилось, что Р. Сарчин каким-то образом сумел избежать противопоставления поэтов одного другому. Более того, в текстах выстраивается некая внутренняя переключка, в конечном счёте создающая устойчивое впечатление единства, причастности каждого из авторов определённой школе, а точнее сказать – определённой системе жизненных и эстетических ценностей...

Автор исследования убедительно расставляет акценты. Исследование предполагает анализ, разделение, и Р. Сарчин решительно заявляет о своём согласии с давней литературоведческой традицией: «Всю поэзию я разделю бы условно на две ветви: поэзию мысли и поэзию чувства». Казанские поэты дают для этого достаточное основание: первое направление представлено, в большей части, мужской частью авторов, второе – женской нежностью, тонкостью чувств и стихами Геннадия Капранова. Каждый из них ищет свой путь – в поэзии и в мироощущении; они очень разные, и эта разность убедительно определена исследователем. Читать и сравнивать просто по-человечески интересно, советую. Тем более, что в кратком отзыве приводить примеры трудно: они требуют определенного пространства и времени. Скажу только, что в результате, в сумме своей, эти стихи рожают «симфонию души», как это сформулировал автор исследования применительно к творчеству Е. Бурундуковской – и мы вправе расширить этот образ на авторов сборника-исследования в целом.

Здесь же хочу сказать о том главном впечатлении, которое произвела на меня книга Р. Сарчина. Оно, конечно, субъективно, но вы легко можете проверить его истинность (точнее, соотнесённость с вашей оценкой) – достаточно неспешно прочитать книгу, насладиться многими (думаю, не всеми) стихами и задуматься над авторскими выводами. Так вот, впечатление это зародилось при чтении стихов Розы Кожевниковой «Молитва»: «Бисмилла иррахман иррахим...» // С этой магией фразы туманной // Засыпают в блаженном обмане, – // Только б верить, что кем-то храним». Необходимость быть кратким заставляет соотнести эти строки с классическими: «Если к правде святой мир дороги найти не сумеет – честь безумцу, который навеет человечеству сон золотой».

Не все поэты, представленные в книге, в большинстве своём ищут путь к «правде святой». Просто не видят ни её, ни, соответственно, пути к ней. Оттого и рождаются стихи про пустоту, про тоску, про боль, а уж обличений мира сего и вовсе не счастье... Отчего такой безысходный скепсис? Со студенческих лет филологи знают, что изрёк тысячи лет назад «седой Мельхиседек: рабом родится человек, рабом в могилу ляжет...», и сколько же было в

нашей (и зарубежной тоже) литературе этого битья головой о стенку: «ах, как же не соответствует этот мир моим представлениям о том, каким ему быть должно!» И что? Были на земле райские времена? Их ведь, как справедливо сказано, не выбирают... А вот свет, доброта и любовь – были и есть. И пребудут вовеки. В книге рассыпаны поистине золотые (без кавычек!) подтверждения. Приведу некоторые.

Жить просто и верно:

Я сына люблю. (Л. Газизова)

Женщины не ошибаются, когда любят детей: в капле воды отражается всё море...

*Какой же доброй надо быть
Не на словах – самим участием,
Чтоб и терзаться и любить,
И называть всё это счастьем!..*
(Р. Кожевникова)

*Покажу хоть троекратным криком –
пусть и добрый слышит, и злодей, –
я с раскрытым сердцем!
Я – с раскрытым!
Я – с раскрытым!
Я люблю людей!*
(Г. Капранов)

Тут я поспорю с самим собой, возраст позволяет. С полвека назад я так же, как сейчас Рамиль Сарчин, отмечал в стихах Николая Беляева «корни гражданственности» – несомненно, они были, и не только в его стихах, и они сильно повлияли на общество. Сегодня я готов поспорить с Евтушенко образца 60-х: «Поэт в России больше, чем поэт». Хотя при этом вступаю и в спор с Р. Сарчиным, который утверждает: «Но поэту не быть поэтом, если, подобно пророку (а у нас другим поэту и не бывать!), не указать мер, которые помогут отличить истинное от ложного, путей спасения, не вывести к почве, как сделал это в ветхозаветные времена Моисей. Самыми высокими мерами, определяющими нравственную состоятельность человека, его поступков, жизни, являются в поэзии Беляева вера, искусство, вечность». Как же так, удивится читатель этих строк, вы же несомненно хвалите (высоко оцениваете) работу Р. Сарчина – и тут же возражаете ему? Да, и возражаю, и думаю, что он меня поймёт, даже если не согласится.

Р. Сарчин в своей книге подвёл определённый итог большому периоду казанской поэзии, хронологически его можно назвать второй половиной XX века. На дворе при этом не только новый век – новое тысячелетие. И на мой взгляд, в книге самое ценное – это поддержка ростков того самого «хорошо забытого», которое не прейдёт никогда. Не «вечность» и «искусство» - кате-

гории размытые, неопределённые, но живое и трепетное восприятие величайшего творения – Жизни, Природы, Человека-творца, безграничная Любовь ко всему сущему – вот что спасает человеческое в мутных водах постмодернизма (с его высокомерием, тоской, пессимизмом и проч.). Вот в чём – вольно или невольно – убеждают меня казанские поэты (в большинстве своём) и книга Рамиля Сарчина, за что им всем искреннее и огромное спасибо.

Роберт Коносов

АЛДОШИН
Тимур Леонидович

* * *

«Неподражаемо лжёт жизнь...»

Марина Цветаева

... Даже уж не ложь –
так, уходит гулко
жизни хлебный нож
в мякиш переулка.

Даже уж не смерть –
так, стоит чухонкой
равнодушно твердь
с шелухой звонкой.

Ей-то всё равно,
как мы называем
красное пятно
под тупым трамваем.

Им – кому слышать? –
что мы набормочем,
уходя не спать
в переулки ночью.

Статуя коня,
всадник с медной палкой
плюнут на меня,
проезжая валко.

Плюнет на тебя
сонная комета...
Даже для себя
нету лжи на этом

свете, что во сне
видит нашу встречу, -

ни тебе, ни мне
не давая речи.

* * *

Лесенка туда-обратно,
и с небес, и в небеса,
вся, как песенка, понятна,
ибо – умный написал.

Так – как горцы – лишь крюками,
не страхуясь тросом нот,
преодолевая Камень,
Церковь музыку поёт.

Всё, что истинно чудесно, –
не рождается из реторт.
Оттого душе так тесно
в жаркой горенке аорт.

Ум – не формула алхимий,
а талант – на свет Звезды
плыть тропинками сухими
над поверхностью воды.

Оттого на белом свете,
полном взрослой мишуры,
не кощунствуют лишь дети
над серьезностью Игры.

Под крапивою забора
с пестрым фантиком Секрет
темным стеклышком собора
стережёт небесный свет.

Только Та, что поднебесна,
открывает дверь сама...
Ум – когда душе быть тесно
в скучной клеточке ума.

* * *

Нас окружают образы вещей.
Раз в полчаса звучит дыханье елки.
И умирает вечности Кощей
от Ливией отравленной иголки.

Проверь свой диск, входя, на антиспид,
поскольку, кем ты выйдешь, неизвестно.
Жизнь завелась в пространстве от тоски,
что в нём для счастья слишком много места.

Жизнь – это вирус правильных систем,
уставших от работы непорочной,
лежащих в кровати с первым с тем,
кто выйдет встречу на тропочке полночной.

Жизнь – мысли уходящей неолит,
которая, как мамонт, приказала
все впадины потопами залить,
спустить корабль, и всё начать с вокзала.

Мы щупаем отнюдь не вещество,
когда нам глаз рисует оболочки,
как бы одежды голенькой Его,
из волн и звона вытворенной дочки.

Проверь свой нюх, входя в глухую тьму
Её ознобом выстуженных спален –
принадлежащих в вечности Ему
реанимаций и исповедален.

Домов рожденья гулкий коридор,
стерильный скрип голодной колесницы...
Сейчас начнут, и Вечность, как кондор,
на кварцевую лампочку садится.

Сейчас начнут, и разрешится Всё.
Жизнь трогает топорик под полою.
Смерть прячет в птицу вечное яйцо
с последней одноразовой иглою.

* * *

Если в привычке к письму есть смысл,
он: начертать о том,
что не умеет сказать сам лист
о пустоте. Листом

может быть приступ любой тоски
по пустоте, что Вне,
тянущей к небу свои ростки,
как Торричелли; не

осознающей, что все листы,
вызванные из сна, —
тянут пустыню в себя, пусты
более, чем она.

* * *

От многая знания многое молчанье.
Знаю, да молчу, что продают на рынке
глаза синие, волосы мочальные
куколки Иринки.

Ходит по базару энтомолог с баночкой,
утвердив моноклъ:
от того, что куколка скоро станет бабочкой —
ему одиноко.

Ой, скоро ты, любовь, Египет мой спелёнутый,
вылетишь из кокона,
как зубную кровь, смолу на зрящих сплёвывая:
оку — оково.

Оковы очам — облачность, оттого отчаянье,
но когда вынырнет из облака,
на неё смотри полными очами,
радостно и робко.

* * *

Когда, нарядну и прелестну,
корову волокут на бойню,

мир слышит горестную песню,
а зверь глядит на колокольню:

«Я не для смерти наряжалась,
я петь хочу в церковном хоре!»
В сердечках возникает жалость,
и мясники уходят в море.

Они влекут безгласну рыбу,
в сеть облака сгребает вечер,
и думает, что петь могли бы
они Псалтирь, да нынче нечем.

Теперь их песнь нема, безгласна,
глядит на мир из звезд и гумен,
из удивленной рыбы глаза,
которую подъял игумен.

Тютчев

Как хорошо сказал поэт,
мысль изречённая есть ложь, но
не извлекать её на свет,
как зуб болящий, – невозможно.
Поэтому, дружок, реки
остановленное мгновенье –
как корень с кровью, извлеки
из сердца формулу забвенья.

Музыку разнимай, как нож,
уменьем умного металла
боль жизни превращая в ложь
словес – чтоб мучить перестала.

Мудрость

Цветы, деревья, трава,
глаза, улыбки, колени...
Лучше мертвого льва –
живые олени.

Лучше старой любви
новая, ибо

бывшие львы
молчаливей, чем рыбы.

Нету мертвых вообще –
есть ушедшие. Строго,
жизнь – всего лишь воче-
ловеченье бога,

смерть – его возвраще-
нье в отчизну небесну.
Нету смерти вообще –
есть разлука. И если

всё кончается здесь,
то конечна и горесть
расставаний. То *есть*
лишь терпение, то *есть*

протяжённость границ
между знанием и верой,
где Меркатора из
становится сферой

Земля, круглясь, как живот
земных, тяжёлых земными:
«Лучше тех, кто живёт, –
те, кто будут живыми».

* * *

Не кока-колу, но колокола
разлей по приготовленным пустотам,
чтоб Та в них, что всё жаждала, ждала,
воскликнула, услышав бронзу: «Кто там?»

Там – голосок затвердевает в Глас,
как дух младенца обрастает телом,
как остывает звёздочка, что жглась,
но вдруг планетой статья захотела.

Природа, ты не терпишь пустоты,
и, значит, для тебя места все святы,
и все координаты суть кресты,
на коих сыновья твои распяты.

Строй всюду жизнь, не оставляя мест,
не тронутых творящими руками,
на небеса перемещая крест,
в его подножье отдавая камень.

На камне храм, а камень на крови,
что не остановилась за чертою,
а вылилась в колокола любви,
притянута святою пустотою.

Полине

В волосах твоих да будет свет,
тёплая пушистая звезда, –
пережжём, как пробки, «Интер-нет»,
между нами будет «Интер-Да»!

Кончится вчерашняя печаль,
засияет завтрашняя твердь,
будем всюду лазить, выключать
ржавую низложенную смерть.

Раздадим сиротам мам и пап,
дождь – пустыням, сёстрам – женихов,
вдунем в дрожь любви ветвей и лап
разум для писания стихов.

Подползёт собакой континент
к нашему небесну кораблю,
скажешь ему: «Места хоть и нет –
забирайся, я тебя люблю!»

Нам найти написано в роду,
позабыв все прошлые места,
чистую-пречистую звезду,
где никто не убивал Христа.

* * *

Взял ключ без спросу и достал варенье.
Полбанки съел, теперь сидит грустит.

Он должен был писать стихотворенье –
но изменил, и Муза не простит.

Обижена, что взял ключи без спроса,
и съел до срока зимнее НЗ,
она пойдёт с другим глотать колёса,
и утречком кататься по росе.

Морали нет. Сожри хоть десять банок,
хоть ни одной – любым усилием лба
не вычислишь свой смертный полустанок,
куда за Ней пошлет тебя судьба.

* * *

С любимыми не расставайтесь,
в постели с ними оставайтесь –
пускай кипит на кухне чайник,
пускай трезвонит телефон,
пусть увольняет вас начальник,
пусть гаснет в луже теневой
огарок дня – пусть всё вам снится:
что вместе вы лежите век,
и веку, как собаке, спится,
и белый свет уснул, и снег,
и голод спит, и даже жажда,
и сон уснул. И нету сна.
И все уходят. Но не страшно.
И дальше – только тишина.

Застрявшим ящиком комода
вцепляется – не оторвёшь! –
прах любящего Квазимодо
в прах Эсмеральды... Гаснет нож,
истлев в объятых ржавых ножен.
Всё зацепилось – и не тронь.
О, как неложен, бестревожен
ушедший внутрь себя огонь!

... Как в фильме "Сталкер" два скелета,
обнявшись, тихо, мирно спят, –
давай проспим Господне Лето,
пока трубач не крикнет: "Свят!"
Тогда мы встанем одеваться,

но всё не будем расставаться,
не той рукою попадая
в твою-мою обновку плоть,
зевая, съёжившись, гадая,
что скажет нам судья Господь.
Но будет там совсем не страшно.
"А что вы делали вчера?"
"А мы проспали день вчерашний".
Усмешка Вышнего хитра:
"Ну что же делать, коли спать вам
друг с другом вечно суждено –
во всех обителях объятьям
свершаться не воспрещено...
Любите. Что уж с вами... Спите
и при трубе, и в свете дня, –
но отпустите, отцепите –
как отпускаю вас! – меня".

И мы отпустим Лик и Слово,
в свое объятье рухнув снова,
никем уже не будем зваться,
не будем выглядеть никак –
лишь будем вечно Оставаться,
как теплый, тесный Минус-мрак.
И нашему Нерасставанью
Бог одеяло подоткнёт,
и тихо рядом на диване
в походном кителе уснёт...

* * *

Хочется, чтобы тебя оплакали –
не потом, когда уже пророс
призраками, злаками ли, знаками –
над живым пролейте каплю слёз!

Не забуду, расхотев повеситься,
размотавши телефонный шнур,
как в четыре года девять месяцев
ты сказала: "Эх, Тимур, Тимур..."

Господи, дай Ангела над жёнами:
много ль чести – сокрушать сердца?
Подвиг – над погибшими, сожжёнными
сердцем сокрушиться до конца.

С урною разбитою голубится
дура вечность... Много дур и урн.
Но Живое терпится и любит
босиком, без гипсов и котурн.

... Двери ада дрогнули и рухнули,
смерть прошла с досадою земной –
когда ты, кулич ломая в кухоньке,
горестно вздохнула надо мной.

* * *

Свет есть палка о двух концах.
Схватим свет с двух сторон!
Свет - сиротка о двух отцах -
да без матери он.

Мать Материя, ты в бреду,
ты в тифозном раю.
Я по водам души иду
в лихорадку твою.

Я ведь тоже твой блудный сын,
мы со светом - родня.
И его седина блестит
в бороде у меня.

И, как родинки, разлита
в нём моя чернота.
Мы - как два воровских креста
по обочьям Христа.

У монеты есть два лица,
как две маски игры,
а у света есть два конца,
два кольца, две дыры.

Посредине - последний гвоздь.
Снимем шляпы с гвоздей.

Свет ведь тоже - на свете гость.
Нам пора из гостей.

Нам пора по воде туда,
где в бредовом огне
шарит пальцами мать-звезда
по ледяной простыне,

ищет ножницы сделать жгут,
чтоб спуститься в окно,
где глазищи большие ждут,
где от века темно,

где сироткой при двух отцах,
беспризорен, отпет,
прячет в маски тоску Лица
неопознанный Свет.

Это то, что болит...

Когда читаешь стихи Тимура Алдошина, в душе рождается образ некоего «пленного духа» (М. И. Цветаева), тоскующего в своей телесно-земной оболочке по невыразимой человеческими словами Тайне Мира, устремлением к которой я обозначил бы пафос всего творчества поэта, в том числе и стихотворения «Огорчение солдата»:

Если существует Ира просто –
значит, есть и Северная Ира.
Там и находился полуостров,
где оберегалась Тайна Мира.

Значит, так, мы вышли к водопаду,
дело было, говорится, в шляпе –
а дракошка говорит: не надо,
вот скажу, кто вы такие, папе!

Оставалось-то: пройти к истоку,
взять яйцо да положить в лукошко!
Но пришлось бы поступить жестоко,
прямо скажем, с маленькой дракошкой.

Ничего б, конечно, не успела
никакому папе, врёт нахалка...
Но полковник говорит: не дело
обижать – ребенок всё же, жалко.

Взяли и обратно повернули.
Так и не узнали Тайны Мира...

Как видим, разгадать её невозможно; это равносильно нанесению обиды ребёнку, совершению святотатственного поступка разрушения детской очарованности Чудом Жизни. Может быть, эта Тайна Мира и есть та изначальная субстанция Бытия, над разгадкой которой тысячелетиями бились и бьются философы, учёные, поэты? Алдошин называет её «Те и Эти Светы» – так озаглавлен первый поэтический сборник автора. По словам поэта, это «некая сущность, которая не идентифицируется», некая «пустота», из которой всё исходит и в которую всё возвращается – «святая», «светонесущая» пустота, начало и исход всей жизни. Трудно обозначить её каким-то определённым понятием, поскольку любое понятие – это продукт человеческой мысли. А Тайна Мира – вне её познания; к этой Тайне можно лишь прикоснуться, озарить светом души. Она доступна созерцанию лишь обращённого к ней духа.

В программном для творчества Алдошина стихотворении «Если в привычке к письму есть смысл...» смысл и цель поэзии видятся в том, чтобы «начертать о том, // что не умеет сказать сам лист // о пустоте», в порыве за грань земного, материального – ко всему тому, что *Вне*, к миру высших начал бытия. Этим я объясняю и некоторую высокопарность, точнее, *высоту* поэтической речи, свойственную стихам поэта. Он не *пишет* стихи, он их *ре-чёт*. Даже стихотворение, обращённое к ребёнку, которое, казалось бы, должно быть предельно конкретно, «в соответствии» с особенностями детской психологии, воспринимающей мир в «конкретных», «чувственных» образах, целиком пронизано понятиями отвлечёнными, обозначающими высокие бытийные категории:

Покуда существует рай,
и жизнь не взламывает двери,
в шары с планетами играй,
подобен богу или зверю.

Всё мироздание в горсти,
как нераскрывшееся семя,
держи – покуда прорасти
тебя не заставляет Время.

Не торопись, дружок, узнать,
кляня опеки постоянство,
что отличает землю-мать
от вольной мачехи пространства.

ещё придёт твоя пора
в тисках всемирного конвоя
асфальт вселенского двора
пробить безумной головою.

Я менее всего склонен относить эти «детские», на деле совсем недетские, стихи к просчётам, к издержкам письма: вроде, так для детей не пишут. Таков уж слог поэта, всей душой предавшегося к созерцанию тайн бытия. У него даже самое, казалось бы, никчёмное явление вдруг обретает «судьбинный» смысл, как, например, в стихотворении «Взял ключ без спросу и достал варенье...».

Для стихов Алдошина характерным приёмом является написание не собственных имён существительных прописными буквами. Более того, ими порой начинаются даже глаголы. Ясно, что таким образом поэт акцентирует внимание на ключевых понятиях, явлениях, наделённых «высоким», «актуальным» значением: «Пусть дальше Снег. Опустим занавески. // Решать судьбу она (зима – Р. С.) сама вольна...». В стихотворении «Потом она устанет и остынет...», откуда взяты эти строки, Снег – это не просто снег, изна-

чально лишь как явление повседневной, «обытовлённой» нами природы. Здесь Снег, как и Зима, – нечто гораздо большее, много- и великозначимая категория.

Вообще, образной системе Алдошина свойственна символичность. На мой взгляд, без учёта многозначности, характерной для символа глубины смысла, нельзя, например, прикоснуться к «тайне» образов стихотворения «Лесенка, туда-обратно...». Безусловно, символичны образы Камня, Звезды, Игры – устойчивые в поэзии символы печали, смерти, веры, памяти, вечности, любви, души, мечты, надежды, судьбы, творчества... Разве здесь они не востребованы автором? И как без учёта этих символических значений поэту было приуготовить появление Её, «поднебесной», – образа Вечной Любви и Женственности? Любопытно, что в контексте этих «высоких» образов даже вроде бы вполне реальная детская игра «в секрет» обретает символическое значение:

Под крапивою забора
с пёстрым фантиком Секрет
тёмным стёклышком собора
стережёт небесный свет.

Не знаю, кому как, но для меня этот Секрет играет вечными бликами Жизни и Смерти.

Есть у Алдошина стихи, которые без «скидки» на их символическое значение и вообще будет понять невозможно, как, например, строки стихотворения «Когда нарядну и прелестну...»:

Когда нарядну и прелестну,
корову волокут на бойню,
мир слышит горестную песню,
а зверь глядит на колокольню:

«Я не для смерти наряжалась,
я петь хочу в церковном хоре!»
В сердечках возникает жалость,
и мясники уходят в море...

Привыкшему к «прямоте» суждений читателю, воспитанному на стихах классического поэтического наследия «золотого века», впору воскликнуть от этих строк: что, мол, за несуразность?! Как можно корове «наряжаться» и «петь в церковном хоре»? И уж кому-кому, но никак не мясникам уходить в море – привычное для романтиков пространство. И, пожалуй, читатель, привыкший видеть «внешнее» и не приученный провидеть за ним «вечное», будет прав. Но ведь дело как раз в том, что здесь нужно не столько *зреть*, сколько *прозревать*. Главное здесь не то, что изображено, а то, что выражено, – мотив жалости, страдания и сострадания. Потому и понадобилась Ал-

дошину корова, что через память о «Корове» Есенина пробуждается это чувство, становясь вселенским через соотнесение с блоковским стихотворением «Девушка пела в церковном хоре...», возникающее благодаря слишком «явной» рифме «хоре-море». Таким образом ключевым для понимания стихом оказывается строка-«подсказка» «В сердечках возникает жалость», в свете которой и должно восприниматься произведение о любви ко всему живому, о тоске по человечности.

Тоска составляет стержневой пафос поэзии Алдошина:

Третий день не возят кухню, дождик льёт,
сорок раненых в подводах ждут судьбы.
Бесконечная тоска чужих болот...
(«Хирург»)

Хорошо ожидать нерождённое,
погружая вдвоём в образа
восхищеньем тоски измождённые,
побеждённые Чудом глаза.
(«Если мальчик родится у дерева...»)

...сироткой при двух отцах,
беспризорен, отпет,
прячет в маски тоску Лица
неопознанный Свет.
(«Свет есть палка о двух концах...»)

В стихотворении «Нас окружают образы вещей...» тоска становится истоком и, возможно, смыслом Жизни: «Жизнь завелась в пространстве от тоски, // что в нём для счастья слишком много места».

Я привёл примеры только тех стихов, где понятие «тоски» выражено, так сказать, «напрямую», явлено в слове. Но тоска у Алдошина настолько всеобъемлюща, что ею дышит каждый стих поэта, она пронзает собой весь интонационный строй поэзии автора. Это тоска по «живой» душе, вызванная обострённой тревогой за человека, человечность, которой в современном мире всё меньше и меньше места...

Гуманизм, сострадание, любовь к человеку и ко всему живому я назвал бы ключевой чертой поэзии Алдошина. Тоской по человечности, видимо, объясняется и тот факт, что он то и дело обращается к духовному опыту поэтов-предшественников: Тютчеву, Цветаевой, Тарковскому... Тоской же мотивированы и постоянные обращения к именам известных деятелей науки, литературы, культуры, в числе которых Проспер, Пири, Торричелли, Стоппард и многие другие. Неподготовленному читателю, не обладающему определённым интеллектуальным багажом, пожалуй, даже трудно будет проникнуть в суть некоторых стихотворений поэта. Но в том-то и дело, что он делает ставку на *знающего*, а потому равного и, значит, способного *понять* чита-

теля. Поэзия Алдошина рассчитана на вдумчивого человека, воспринимающего стихи не просто единым душевным порывом, мгновенно возникшим чувством, но ещё и посредством разбуженной этим чувством мысли. С этой точки зрения, я назвал бы Алдошина, со свойственной для его стихов «интеллектуальностью», истинно казанским автором, последовательно утверждающим в своём творчестве идею ценности активной человеческой Мысли и тем самым – ценности Человека как мыслящего существа, усилиями своего Разума приобщающего себя к вечному Бытию: «Один корректировщик Мысль // в чугунном небе вместе с нами». Поэт, соглашаясь с Тютчевым в том, что «мысль изречённая есть ложь», видит в этой мысли-лжи средство избавления от «боли жизни».

Хотя возможно ли исцеление для поэта, написавшего следующие строки:

Жизнь – это то, что болит.

Боль, как на цыпочках в зале мать,
коснётся всех одеял
на теле воздуха: «Это я.
А всё остальное тьма».

Как видим, Жизнь сама по себе – боль. А душа поэта к тому же охвачена и болью-тоской по Живому, что «терпится и любитя», страданием и состраданием. Она озарена, пользуясь его же словами, «многосвечием Любви», погасить которое – значит погрузиться в Тьму Небытия. Впрочем, над душой, над любовью смерть не властна. Более того, даже Смерть гуманна у Алдошина:

Задача Смерти – перелицевать
изношенность оборванных пальтишек,
умыть, одеть и перецеловать
разбросанных по станциям детишек.

Поэтому, даже когда ты перешагнёшь «через жизни шлюзы», также «чей-то нос утрёшь, // раздашь паёк», будешь «дежурить возле кухни полевой, // со всех концов к огню собирая души...». Таким образом, и после смерти душа человека не утрачивает своей «человечести». И Там, в Ино-бытии, необходимо сострадание, оно неизменно и по Ту сторону Жизни.

В поэзии Алдошина есть ряд стихотворений, посвящённых ребёнку, одно из которых я уже цитировал выше. Считаю, что по жизнеутверждающему пафосу, по сострадательности, по силе любви они лучшие у поэта. Не могу в связи с этим не процитировать строки стихотворения «Полине»:

Кончится вчерашняя печаль,
засияет завтрашняя твердь,
будем всюду лазить, выключать

ржавую низложенную смерть.

Раздадим сиротам мам и пап,
дождь – пустыням, сёстрам – женихов,
вдунем в дрожь любви ветвей и лап
разум для писания стихов.

Подползет собакой континент
к нашему небесну кораблю,
скажешь ему: «Места хоть и нет –
забирайся, я тебя люблю!»

Поэт признался мне, что другое его стихотворение «Хочется, чтобы тебя оплакали...» тоже посвящено девочке Полине, благодаря доброте и состраданию которой он воспрянул в один из самых тяжёлых минут своей жизни.

Тут, видимо, не обошлось и без Бога, неусыпно радеющего о человеке. Образ Бога-воителя не случаен в стихах Алдошина. Одно из лучших стихотворений любовной лирики автора «С любимыми не расставайтесь...» заканчивается строками: «...нашему Нерасставанью // Бог одеяло подоткнёт, // и тихо рядом на диване // в походном кителе уснёт...».

Поэт понимает, что в современном мире продолжается нешуточная борьба за человека и его душу. В этой битве поэтическое дело вполне сродни Божьему промыслу. Поэтому свою творческую задачу Алдошин выразил однозначно в строках, которые могли бы стать эпиграфом ко всем его творениям:

... всё таким же грешным делом
занимается поэт:
на листе обманно-белом
проявляет Божий след.

БАШИРОВ
Вячеслав Аркадьевич

Свет на облаках

Я поднимаю взгляд от помертвелых вод.
Большие облака над головой нависли.
Живой на грозových истаивает свет,
как перед забытьём рассеянные мысли.

Тяжелая река в широком ложе спит,
и лодка посреди реки, и в лодке вёсла,
и, лёжа на корме, я вижу, как летят
туда, откуда им последний свет ниспослан...

Живой на облаках истаивает свет,
как перед забытьём рассеянные, тише
и глуше, ни о чём определённом, нет,
не мысли, над рекой в широком русле, выше
и глубже, перелёт, и рваным стаям вслед,
всё ближе, всё ясней, но дальше не увижу...

* * *

Сергею Малышеву

Бедные наши слова, перекатную голь,
камешки в воду швыряя, кругов на воде
не оставляющие, говоришь, для того ль
брошены бедные, чтоб никогда и нигде
не отозваться, и сгинуть бесследно, едва
кинешь в пространство глухое, о, тише воды
время уходит, неслышно смывая следы,
голь перекатную, голые наши слова,
что же ещё, ничего я сказать не могу,
кроме того, что всегда, отступая, вода
перебирает лежащую на берегу
гальку тяжёлую, здесь, говорю, и всегда
всё остаётся, скажу на прощание, брось,
время уходит, не стой над пустою водой

и не забудь усмехнуться над бедным собой,
круглые камешки в воду бросая, авось,
и доплывут, ничего, говорю, как-нибудь,
здесь и всегда, до свидания, и не забудь.

Под знаком Рыбы

Чудес не бывает случайных, быть может, потом и не здесь
узнаешь случайную тайну: почти не бывает чудес,
не скоро сбываются, скупой отмерена доля удач,
поверишь ли ты гороскопу, который сойдётся, хоть плачь,
не часто бывает счастливым рождённый под Рыбой, его
не ждёт ни успех торопливый, ни лёгких побед торжество.

Июньское солнце лениво катилось дорожкой своей,
коровы хвостами сонливо хлестали настёрных слепней,
в заливе вода застоялась, прогрелась до самого дна,
в садке ничего не плескалось, напрасно бросалась блесна,
блестевшая жаркой латуnią... Да нет, не бывает чудес,
никто не рыбачит в июне на спиннинг, тем более здесь.
А мальчик забрасывал леску, трещоткой легко стрекотал,
бамбук изогнулся вдруг резко, рванулся из рук и упал...
Коровы глядят безучастно, кусаются злые слепни,
счастливые дни так нечасты. Нет, в детстве случались они!

Всё тащишь и тащишь оттуда свою немудрящую снасть.
Само ожидание чуда уже... Осторожно, не сглазь!
Тому, кто имеет несчастье родиться в конце февраля,
надеждой нельзя обольщаться, прощать не умея вранья
судьбе, обещавшей такого улова! Что блеска в реке...
Июньское солнце, и снова тот берег... и жерех в руке!

Мышеловка

Я самая обыкновенная серая мышь,
очень обыкновенная и очень серая,
но и у меня есть своя дерзновенная мысль
и нечто такое, во что я верую.

Впрочем, не будем об этом, давайте о чём-то другом,
вот, например, о моей маленькой серой плутовке,
как она этак бочком-бочком, а потом...
Ну, почему я всё время думаю о мышеловке?!

Или, взять мою норку, тоже ведь хоть куда,
радует в холод теплом, а в жару прохладой...
Ну, отчего о ней, взведённой, всегда
только о ней, напряжённой, о ней, проклятой!

Весь примитивный её механизм так понятен, весь —
деревяшка одна да рамка с пружиной тугою.
Нет, господа, здесь что-то другое, здесь
что-то другое, говорю вам, что-то другое!

И сыра этого мне, спасибо, не надо, сыт,
мыслью своей немислимою по горло...
Но чувство странное и острое, как стыд,
и притягательное... Нет! Благодарю покорно!

Да, механизм её гениален всей простотой!
Кто бы только додуматься мог до такого решения?
Значит, что-то есть сверх реальности той,
которая поддаётся непосредственному ощущению?

Так вот что меня так сильно притягивает, вот
что придаёт мне силы принять испытание!
Упорная мысль о том, что оттуда зовёт
сладкая вера в высокое предназначение.

А сыр... ну что же, это не важно, это лишь
маленькая уступка несовершенной природе.
Я ведь самая обыкновенная серая мышь,
не первая и не последняя в своём роде.

Над пустотой

То, что вдруг начинается, не кончается вдруг,
по причине того, что нет никакой причины,
из которой следует следствие, вдох
не исходит из выдоха, всё течёт самочинно,
как трамвай, где кому-то говорят: пробей,
и послушно, бездумно что-то он пробивает,
потому что накатывает в это время прибой
на берег ночной, куда его прибывает,
как щепку, которую локтем пихают в бок
и говорят: извините, и он головой кивает
по причине того, что заканчивается вдох
и выдох тяжёлый подхватывает и смывает

в ночную стихию пустую, холодную ко всему
чужому, и он выходит вместе со всеми
на остановке, совсем не нужной, чуждой ему,
потому что выдох заканчивается в это время,
и его подхватывает подоспевшей волной,
и в трамвай подошедший он заходит безвольно,
где ему говорят: убей, и он головой
кивает, по причине того, что накатываются волны
на холодные острые локти камней,
отвергающие всё, что им, твёрдым, чуждо,
и трамвай, накрённый очередной волной,
на мгновение замирает над бездною, потому что
в этот миг заканчивается вдох, и опять
начинается выдох безумно пустой пучины,
из которой снова нечему проистекать,
по причине того, что нет никакой причины.

Крыса

В угол загнанную, на меня
мерзкими, разумными глазами
пять секунд глядевшую иль двадцать,
всё никак ударить не решаясь,
будто что-то связывало с нею
ненавистной силой, даже крысу
убивать впервые очень трудно,
вот в чём дело, но как будто что-то
из неё в меня перетекало,
возбуждая незнакомой злобой,
вот в чём дело, это опьяняет,
будто хлопнул разом полбутылки
и взмахнул стальным прутом внезапно,
безотчётно, без приказа мозга,
будто заглянул куда-то глубже,
чем положено, увидел то, что
знать не должно: убивать легко!

Тоска московская

Такая тоска просыпаться, такая тоска
глаза продирасть и глядеть в потолок, привыкая
к тоскливому свету, не свалится ли с потолка
в тоскливых подтёках кусок штукатурки, такая

тоска одеваться и в поисках вялых носка
последние силы истратить, тоской истекая,
такая тоска, что достаточно и пустяка,
чтоб тупо напиться, скулящей тоске потакая,

да только придётся куда-то с такою тоской
тащиться, таращась на кисло-московские лица
по Красночукотской какой-то, по Новочудской,
по слякотно-тусклой, похмельно угрюмой столице,
такой, что прогнать бы её, как виденье, рукой,
не видеть, забыть, с головою тоскою укрыться.

Сентиментальное

Фунтик соседский меня иногда навещает, обычно
к вечеру, смотрит печально в глаза, хвостом не виляя,
ждёт, когда что-нибудь дам по законам гостеприимства,
и, деликатно из рук приношение взяв, убегает
к яблоне дальней и там зарывает его, оглянувшись,
вижу ли я, но в воспитанности уступая собаке,
взгляда не отвожу, и хотя не смешлив от природы,
но целый вечер в душе, только вспомню, смеюсь, и под утро
я засыпаю с довольно глубокою мыслью о том, что
мы, человеки, по-своему всё же простые скотины,
можем прожить без высоких страстей и глубоких раздумий,
лишь одного, порою не зная об этом, желаем,
чтобы дарили нас незаслуженным чувством приязни,
ну, для чего приходил, сукин сын, причём здесь подачка,
есть у него во дворе и хозяйка, и ласка, и миска,
стало быть, просто хотелось со мной, дураком, пообщаться,
вот и пришёл и ушёл, не сказав на прощанье ни слова.

Человек – человеку

Человек человеку не есть
неприрученный друг человека.
Волк живого собрата не ест,
как, допустим, коллегу коллега.

Если право имеет считать
человек человека объектом
вожделений своих, – может стать
людоед людоеду – обедком.

Человека нельзя превращать
в средство для достижения некой
высшей цели, – кто вправе решать
в чём же высшая цель человека?

Человек человеку – не Бог
и не камень в любое подножие.
Человек человеку – подлог
образа и подобия Божия?

Человек человеку вопрос,
не имеющий вечно ответа.
Человек человеку – завхоз.
Человек – гармонист человеку.

Басня о соблазне

Идея добра обольстила злодея.
Но, в результате сей доброй затеи,
исчадие зла от него понесла.
Идея зла совратила святого.
И, в результате зачатия злого,
юррода блаженного родила.

Идеи-девушки, девки-идеи,
не соблазняйте бедных людей!
Хилое племя, слабое семя,
для этаких дел не пригодно совсем.
В огненной бездне или в небесной
ищите идейной близости тесной.

Нелепым, невечным созданьям не верьте!
Пусть флиртуют с идеей бессмертия.
Эта искусства прекрасная дама
в них вызывает едва ли не самые
сильные, прочные, непритворные
чувства – самые плодотворные!

Где же мораль? Вот как раз о морали
басен больше всего намарали!

О высшем

Когда нет высшего авторитета,
непререкаемого, как закон
моральный, если бога вовсе нету –
не где-то там, на небесах, не где-то
на плоских досках сумрачных икон,
когда в душе он мёртв, не на иконе,
тогда авторитет – и вор в законе,
и автор катехизиса – любой
морали новой, самой новой, само-
новейшей, отрицающей упрямо,
что нет иной морали, кроме той,
основанной на высшем основанье,
нет, не одною верою слепой,
но знанием того, что малознатье,
что полужнатье – вечный наш удел,
и что невежественному дерзанию,
способному разрушить в беснованье
всё прочное, необходим предел
вовек непостижимый, а иначе
в безумной дерзновенности овечьей
авторитетом для себя назначим
того, кто поведёт нас за собой,
гордыней обуян нечеловечьей,
на бойню и куда ему угодно,
и мы пойдём за ним вполне свободно,
вот именно, что с верою слепой,
или того пошлее – общим мненьем
питаться будем, тоже без сомненья,
вполне свободно взмекивая: мне-е...

Цирк

Не нынешний, а допотопный, где царствовал ещё Поддубный,
не меньшую, чем синема, давая пищу для ума,
он самым важным был искусством, он занимал умы и чувства
так называемых простых людей, он был театром их.

Классической борьбой любясь, класс трудовой, не улыбаясь,
в сплетеньях прозревал борьбы прообраз классовой судьбы.
В одно волнующее действо сплетались гений и злодейство,
безумной доблести порыв и хитрой подлости извив.

Судейство правильно судило – там злобу побеждала сила добра, над хитростью всегда торжествовала простота. Там было всё не так, как было в их жизни трудной и унылой, где в свалке классовой борьбы – не до классической борьбы.

Но расходились по нелюбим своим баракам и халупам, неся в душе парад-алле, как царство счастья на земле.

О птичках

Если вы поймали птичку, не кормите сразу кошку, от такой дурной привычки избавляйтесь понемножку, ну, поймали, так поймали, главное не дали кошке, крылышки пообломали, нитку привязали к ножке, над башкой, чтоб понарошку полетала, покрутили, как пропеллер, всё же кошку сразу же не накормили, если б сразу накормили, вас бы осудили тут же, вот, сказали бы, громила, душегуб, а то похуже, что до кошки кровожадной, то она своё получит, сдохла птичка, ну и ладно, ах, какой несчастный случай, всё в порядке, шито-крыто, жаль такую тварь сякую, про мораль поговорите общечеловеческую, дело сделано, поставьте птичку в ведомость, останки кошка скушает, да, кстати, о привычках, сразу танки не вводите, если где-то выпорхнет из клетки птичка, сразу не вводите, это нехорошая привычка.

Околоточный – околачивающемсяя

Не зря ли вы, юноша бледный со взором, болтаетесь рядом с высоким забором, глядеть, полагаем, нельзя равнодушно на дыры, а нужно всегда под рукою иметь молоток и гвоздей сколько нужно, гуляя, гулять хорошо бы с доскою, а ежели нет под рукою случайно доски с молотком, ну, бывает такое, на сей чрезвычайный неплохо бы случай иметь в голове телефон специальный конторы такой чрезвычайно могучей, в которой всегда наготове ребята, обученные специально заплату поставить где надо, приехав оттуда,

откуда положено, в дырку однако
глядеть-то не надо, а то будет худо,
поскольку поставлен для вашего блага
забор, чтобы лжелучезарным пейзажем
вы не совратились, по сути, кошмарны
шикарные виды, к тому же на страже
и с той стороны специальные парни
в ударном порядке к забитию щёлки
готовы, нацелели острые гвозди
в упорные, наглые ваши гляделки,
заглядывающие с диким восторгом,
кому говорят, по-хорошему бросьте,
кто вам разрешил подходить с гвоздодёром
к забору, которому, неблагодарный,
вы жизнью обязаны элементарной.

Кошки-мышки

Кошка поймала мышку, играет с нею лениво,
то маленько придавит, то отпустит немножко.

С мышкою полудохлой кошке веселья мало,
мышка едва живая вяло играет, плохо.

Ну-ка, беги до стенки, тут-то тебя и цапнет,
то немножко придавит, то отпустит маленько.

Посередине кухни, в центре своей державы
кошка играет с мышкой, долг исполняет скучный.

То маленько придавит, то немножко отпустит,
если не так играешь, тут же тебя поправит.

Не твоего умишка этой игры законы,
кошка играет кошку, мышка играет мышку.

Мистерии

Когда за стеной бу-бу-бу, бу-бу-бу,
а ты в это время, застывшее в тёмных
углах за спиною, включаешь приёмник
в молчание, как в Мировую Судьбу,
в то время, как время струится в трубу,

сквозит из щелей и клубится в проёмах,
глядит, не мигая из нор потаённых,
а ты потираешь устройство во лбу,
настроенное на Вселенский Рассудок,
мерцающий пульсом таинственным, ну так
уймёшь ли ты мистериальную дрожь,
в то время, когда за стеной современник
о тайнах своих бу-бу-бу сокровенных,
умрёшь, ни единого не разберёшь...

В глубь душевную, в самую глушь!..

...на изгибе души нечто смутное...

В. Баширов

Лирический герой Вячеслава Баширова мог бы, наверное, сказать о себе словами лермонтовского Мцыри: «Я знал одной лишь думы власть, // Одну – но пламенную страсть». Этой не отпускающей поэта «думой-страстью» является ничем неутолимая тоска о живой душе. Чувством тоски, обострённой печалью, грустью и «смертной» скукой, пропитаны практически все стихи Баширова. В стихотворении «Новая жизнь, или повесть о несчастном мари-нисте» они органично сливаются в одно переживание: «Никто печально не скучает в тоске на пляже». Хотя, справедливости ради, отмечу, что тоска и, например, печаль всё-таки разные и порой противоположные вещи: «...как печально, а кто-то не знает, // что печалью тоску исцеляют». Для поэта-психолога, каковым предстаёт в своих стихах Баширов, такая нюансировка чувств очень важна.

В «Рассказе о старых временах» тоска становится составным элементом образа, претворяя свои дополнительные выразительные возможности: «Жила там одна молодая тварь, а может, их было две. // Одна была темна, как тоска, вторая светлее дня». Здесь важен тот момент, что тоска, раз уж использована в качестве сравнения, поэтом «опредмечивается», а в контексте процитированных строк обретает хронотопическое значение «ночи», «темени». Итак, тоска-болезнь, тоска-тьма – такова она у Баширова.

Читая стихотворение «Тоска московская», физически ощущаешь тяжесть этого чувства, «вязкость» которого воплощена посредством «сквозных» ассонансов и аллитераций *т, о, с, к, а*, цепко переплетающихся в ткани произведения. Невольно хочется вдохнуть глоток чистого воздуха. Думаю, что основной корпус стихотворений Баширова творчески мотивирован именно этим желанием и необходимостью. А иначе как жить в постоянном чувстве уныния, тревоги, скуки?

Лучшее средство от этого – новые, свежие впечатления, ощущения, на которые, как известно, бывает богата дорога. Видимо, этим и объясняется главенство мотива пути, дороги в поэзии Баширова. Причём, это путь почти всегда с приятелем: «Два остолопа в тумане густом, // проснулись – не можем найти дорогу»; «Мы идём под дождиком вдвоём <...> песенки битловские орём»; «Когда мы покидаем городок...»; «Городок полусонный на припёке лежал // и, жарой разморённый, посторонних не ждал, // но открылся нам сразу...» и т. д. Этот персонаж не получает своих индивидуальных характеристик, не обладает какими-то особыми чертами, приметам. Даже если надеется именем и даже если речь лирического героя обращена к приятелю, как, например, в стихотворении «Лучше глядеть на дорогу, чем на звёзды глазеть...»: «Витька, достань, зараза, чего-нибудь пожевать!». Значит, образ друга важен не столько сам по себе, сколько потому, что возвращает чувство

родства, ощущение близкой души. И этим избывается тоска. Такова одна из граней понимания «дороги» в стихах Баширова. Чтобы раскрыть весь комплекс значений и функций этого мотива, мне пришлось бы остановиться на анализе многих стихов поэта, что могло бы составить предмет отдельной работы, но здесь этому не время и не место. Укажу лишь на ещё одну важную роль «дороги» – «сюжетную».

Подавляющее число стихов Баширова – сюжетная лирика. В их основе – цепь событий. В стихотворении «Огромное красное солнце...» они размеренно, я бы сказал, с той же «скоростью» (в два стиха), как кадры в кинопроекторе, сменяют друг друга:

Огромное красное солнце
свалилось на городок.
Воронья стая несётся
с граем за горизонт.
Горящая колокольня
вонзилась в кровавый зрак.
На городок раскалённый
сыплется жадный карк...
Мы перешли через поле,
пылающее позади.
А впереди – раздолье,
веки не перейти...

«Дорога» организует сюжет многих стихотворений поэта. И надо заметить, что они не просто сюжетны, но двусюжетны. В них можно условно выделить два параллельно, взаимосвязанно развивающихся и дополняющих друг друга «пути»: путь, так сказать, «внешний», связанный с перемещением в пространстве, и путь мысли, чувства, души, сознания – «внутренний», как, например, в стихотворении: «Мы идём под дождиком вдвоём...», где в «путевой» рассказ то и дело и вроде бы как-то нелепо вползает счёт придорожных столбов – от скуки:

...я столбы считаю, двадцать, сорок,
и скучаю, восемьдесят <...>
...когда же,
двести пятьдесят, передохнём,
слева, справа скошенное поле,
скучное под затяжным дождём,
душу бы живую встретить, что ли,
и поговорить о том, о сём,
покурить, а напоследок, триста,
усмехнувшись, скажет он: тури-исты...

Счёт придорожных столбов от стиха к стиху нагнетает скуку, и без того дважды упомянутую. Это я и называю «внутренним сюжетом». Но вот герой сбивается со счёта, что, на мой взгляд, произошло благодаря встрече с «душой живой», ради чего, по всей видимости, и предпринято путешествие. И пусть эта встреча пока что лишь в представлениях, в мечте лирического героя – неважно. Важно другое: в дороге, приводящей к встречам с «живыми душами», преодолевается скука жизни.

Порой «дорога» выливается в сплошной поток сознания, как в стихотворении «Приснилось, мы шли по равнине...». Правда, применительно к этому произведению лучше сказать «поток бессознательного», так как весь путь «проживается» во сне. Здесь вообще не важно, кто и куда идёт. Как такового «внешнего» пути и нет вовсе: не считать же им полёт двух душ «в бездну». Главное – ощущение, «сюжет» души: «...в глазах почернело, и нечем дышать, последняя страсть нестерпима <...> душа обмирает <...> души сплелись // так тесно, как будто в объятьях спасенья». Кстати, конечная цель «пути» и здесь всё та же: сближение, единство душ.

Сюжетность, событийность как одна из ключевых черт башировской лирики столь сильна в стихах поэта, что в них даже психологический процесс проживается «событийно», «сюжетно», как некое действие. В частности, на событийности «внутреннего сюжета» держится структура стихотворения «Забывание»: «И наконец, сырую папиросу, // от ветра пряча, прикурить в горсти, // пивную, подворотню, перекрёсток, // пройти, забыть, с лица земли смести <...> миную перекрёсток, подворотню, // пивную, тыщу лет тому назад // закрытую, забыть бесповоротно, // ступить, куда не достигает взгляд».

Главенством «внутреннего сюжета» в лирике Баширова художественно мотивирован и ряд приёмов, облюбованных автором: прежде всего, словесная игра и инструментовка стиха. И то, и другое в произведениях поэта, на мой взгляд, есть отражение «сюжета мысли». Приведу лишь некоторые примеры башировских строк: «И сыра этого мне, спасибо, не надо, сыт, // мыслью своей немислимою по горло...»; «Жара у моря градусов под сорок // стояла, и стоял на берегу // пивной ларёк, теперь, когда под сорок, // я всё ещё зачем-то берегу...»; заглавий стихотворений: «О равенстве и ораве», «Околоточный – околачивающемсяя», «Наблюдатель – блюстителем» и другие.

Чтобы как можно точнее выразить изгибы-изломы души, мысли, проникнуть в самые потаённые глубины сознания, усиленно пытающегося прозреть законы бытия и собственного существования, Баширов часто прибегает к развёрнутой метафоре: «Жизнь устроена так мудро, всё кружится без конца, // день и вечер, ночь и утро, как на привязи овца. // Я, как колышек, вколочен в центр этого кольца, // а верёвка всё короче, всё наматывается...». Это уже целая метафора-сюжет – сюжет мысли, души поэта.

Раскрывая проблему «сюжетности» произведений Баширова, особенно касаясь вопроса о «двусюжетности» и «внутреннем сюжете», нельзя пройти мимо стихотворения «Я гуляю по осеннему посёлку». Здесь есть ярко выраженный «внешний» сюжет, событийный стержень которого дан в заглавии

произведения. Восстановлю, для вящей наглядности, событийную канву стихотворения:

Я гуляю по осеннему посёлку,
потому что меньше куришь на прогулке,
в закоулки захожу, опять на Волгу,
в набежавшую волну швырять окурки...

Выхожу, гляжу на волны...

На бревне сижу, плевать хотел на волны...

Я гуляю по родимому посёлку,
неприглядна ненаглядная сторонка.
На асфальте от бутылок битых стёкла,
вот и всё, что здесь блестяще, всё, что звонко...

Негде взгляду задержаться до Услона
кроме плоских островков с песочком белым,
с тальником, уже не чересчур зелёным...

Навстречу лирическому герою попадается «дух мятежный» – местный пьяница, качающийся «на сыром ветру», от которого он поначалу откупается «сигаретой сыроватой», а потом поёт вместе с ним заунывную песню... В общем, неприглядная картина, поневоле ввергающая в состояние безнадёги и уныния, в чём по течению стихотворения поэт не раз признаётся: «Тошно-то отчего-то, сердцу тесно...»; «...так тошно // мне в посёлке грязноватом...». Ему столь одиноко, тоскливо, скучно, что «хотелось бы повить, да неохота». Это состояние как бы передаётся природе, «поддержано» ею: «Это, видимо, погода виновата, // что гуляя по осеннему посёлку, // где родился, как ни странно, я когда-то, // ничему не умиляюсь...»; «За одной волной другая пену, словно // после приступа падучей, утирает».

Ключевую роль в передаче мысли о безнадёжной, «смертной» скуке жизни играют реминисцентные выражения, вызывающие в памяти фразу из известной песни о Стеньке Разине и строки стихотворения Некрасова «Размышления у парадного подъезда»: «И за борт её (персидскую княжну – Р. С.) бросает // в набежавшую волну»; «Выдь на Волгу: чей стон раздаётся // Над великою русской рекой?». Вот как это «напоминание» происходит. Поначалу часть «разинской» цитаты использована в воспроизведении действий лирического героя: «...в закоулки захожу, опять на Волгу, // в набежавшую волну швырять окурки». Но тут же она соотносится с песней: «Только здесь не раздаётся эта песня, // что у нас зовётся песней в день зарплаты». Не раздаваться-то не раздаётся, а вот в памяти лирического героя навязчиво звучит: «привязавшуюся фразу повторяю». Впрочем, о песне напоминает и привидевшееся было «молодое, на берег выброшенное тело», которое оказывается на са-

мом деле «бревном, от связки плотовой отставшим» или нет – «окурком, напоследок дошипевшим». Наконец, в самом финале стихотворения песня невнятно поётся пьяницей, но слышится в этой песне уже другая история, из современной жизни, но не менее драматичная. Для её воспроизведения автор обращается к излюбленной им игре слов, «окаламбурирует» песенную фразу:

«И забор...» – Уже ты здесь, мой демон местный!
«За аборт её бросает...» – Ах ты, рожа!
Ну давай повоем вместе, жизнь чудесна!
«В набежавшую волну...» – Теперь похоже...

Каламбур как нельзя удачно выражает мысль об абсурдности жизни и об отсутствии малейшей возможности что-либо в ней изменить. С той же художественной функцией использована и цитата из стихотворения Некрасова – поэта, творческой установкой произведений которого было изображение мрака жизни и безысходного страдания народа. Слова «Выдь на Волгу...» автоматически вводят в башировский текст мотив мрака-страдания, мрака-безысходности. Баширов, также как и в случае с фразой из стихотворения Садовникова, лёгшего в основу народной песни о Разине «Из-за острова на стрежень», обыгрывает некрасовский текст: «Выдь на Волгу, повторяю, выдь на Волгу! // И хотелось бы повить, да неохота». Так «чужие» слова погружаются поэтом в общую атмосферу скуки, поглотившей душу человека. Полнейший пессимизм! Стихотворение «Я гуляю по осеннему посёлку» – пример того, что «дорога» не приводит поэта к выходу из состояния всеподавляющей тоски. Противоречивый стих «Ну давай повоем вместе, жизнь чудесна!» по своей горькой ироничности вконец способен добить человека, к страданиям которого жизнь и окружающие его люди абсолютно глухи. Кстати, слова Некрасова невольно воскрешают в памяти и реплику Прохожего из чеховского «Вишнёвого сада: «Брат мой, страдающий брат... выдь на Волгу, чей стон...». А ведь пьеса Чехова – поразительный по своей силе пример отчуждённости людей, одиночества.

Выше я заметил, что тоска, скука – основные «чувства» в поэзии Баширова. Они формируют поэтический почерк художника, для стиля которого характерны так называемые «длинноты», делающие интонацию, ритм стихотворений «растянутыми», «вязкими», «тянучими». Действительно, читая стихи поэта, сразу обращаешь внимание на то, что его стихи «длинные». Причём «удлинения» эти производятся намеренно – автор объединяет четыре рифмующиеся строки в две с явной рифмованной цезурой посередине каждой:

Нет на свете банальней сюжета, чем сюжет о печальном мужчине,
что ушёл, не найдя ответа, к неземной, скажем так, Марине...
Кто бы ни был за жабры схвачен, разве даром он их топорщил?
А ведь всё могло быть иначе! Как, примерно, и было, впрочем.
Вот сидит он и поминутно в сине море швыряет гальку.

Новой жизни не будет... Ладно! Да и старая вскоре... Жалко!

Баширов «удлинняет» стихотворную интонацию и посредством особой рифмовки, строфической организации произведений, давая тем самым физически ощутить тяжесть жизни и тоски-скуки. Например, в стихотворении «Вместо рецензии» «растягивается» ожидание рифм, «удалённых» друг от друга:

Поэтесс начинающих дюжину
прочитал рецензент начинающий,
потому что кому-то ведь нужно
перелистывать дюжины душ!
Здесь не нужен педант многознающий,
как лягушку, строфу разрезающий,
муж учёный, к тому ж равнодушный,
нужен чуткий, отзывчивый муж!..

Тот же характер «растянутости», «тягучести» присущ, на мой взгляд, «Жестокому романсу», написанному шестистишиями; «Трибуну» с его трёхстишиями, каждое из которых – сдвоенный стих, рифмующийся «сам с собой»; десятистишиям «монументального» стихотворения «Из точки игрек в точку икс, потом обратно», где каждая строка тоже «сдвоена». В «Элегическом марше» поэт как бы даёт мотивировку своих «длиннот»: «Не дистихом элегическим, но гармоническим маршем // должно воспеть этот век, смирно, равняйся, да здра...». Впрочем, именно о «дистихе элегическом» напоминает ритм строк стихотворения, подвергая иронии, осмеянию намеченную было идею «Гармонии», размазанной по уродливым новообразованиям, будто намеренно придуманным автором: «гармонизм», «Гармонистан». Так, даже гармония низводится до абсурда.

В её поисках для поэта остаётся один путь – «в глубь душевную, в самую глушь!». Выше я уже говорил о психологизме письма поэта, о его стремлении к воспроизведению «внутреннего сюжета». Всё это – явные показатели движения во внутренний мир человека, предпринятый Башировым в поисках основ жизни, существования. И на этом пути поэт чувствует себя «профессионалом», настоящим «душеведом»:

Скажу без ложного стыда, пишу романы, скажем прямо,
мне удаются иногда психологические драмы.

Профессионал, и даже смею надеяться, не из плохих,
свою законную Психею я изучил от сих до сих...

Реальный мир предстаёт в стихах Баширова как субъективный образ действительности. Этот мир не существует вне человека, явлен как его «воля и представление». На то, что человек первостепенен, а его душа, сознание –

первичны, указывают заглавия стихотворений, обозначающие внутренние, психологические состояния: «Тоска московская», «Забывание», «Сентиментальное», «Мир как воля и представление», «Предчувствие беды». Так происходит самоутверждение, «актуализация» человека.

Баширов отдаёт себе отчёт в том, что «на изгибе души нечто смутное», что до конца разгадать её невозможно, но не устаёт стихотворением проникать в её самые потаённые глубины. Когда читаешь некоторые стихи поэта, возникает ощущение «расщепления» души на «атомы»:

Там нет ничего, понимаешь, за эту дверью,
там нет совершенно, совсем пустота, как ни трудно
невообразимое вообразить, не проверишь
ни мыслью, ни чувством, ничем, никогда, абсолютно
пустое, пустее того, что вообще представимо,
совсем ничего, ничевее, чем это сумеешь
себе объяснить...

То есть *там* – пустота?.. Вспоминаются в связи с этим слова Рустема Кутуя: «Расщепив атом, человек расщепил себя». Стихи Баширова подтверждают эту фразу: душа должна оставаться тайной, должна быть неприкосновенна; без неё, без её тепла и света – пустота, мрак, холодная бездна. Эта мысль есть самая высокая истина поэта, «божественная эманация», «высшая тайна», «радиация чуда», наполняющая жизнь «бесценным, единственным, благословенным».

БЕЛЯЕВ
Николай Николаевич

* * *

И сопка – как облако –
 это багульник цветёт.
И розово-красная сопка
 (позднее!) – от спелой брусники.
Оранжевых лиственниц пламя –
 и осень их краску метёт
 на белые снега...
Во всём – проявление великой
премудрости –
заданный,
 видимо, точный наклон
земного вращения,
 сменосезонная тайна,
неведомый людям экватора
 славный закон,
волнующий и удивляющий нас –
 чрезвычайно...

Спасибо, что вертишься,
 день чередуя и ночь,
спасибо за эти
 рассветы твои и закаты,
За то, что мне выразить
 всю благодарность – невмочь,
уже забывая
 скитания, координаты...

* * *

*Ты помнишь, как из тьмы былого,
Едва закутана в атлас,
С портрета Рокотова снова
Смотрела Струйская на нас...*

Николай Заболоцкий

Восемнадцать раз рожать детей
от тирана, мужа-виршеплёта,
мучившего крепостных людей...
Бред, больной истории работа.
Пензенская Клио сберегла
и тома с обрезом золочёным,
и рассказы – как велись дела,
как вершился суд над обречённым...
Этого у Рокотова нет.
Есть начало – молодость и тайна,
полный дивной прелести портрет,
уцелевший явно не случайно.
Действует на всех, кто жив и зряч
то, что выше общей жажды плотской –
та полуулыбка-полуплач,
от которой дрогнул Заболоцкий.
Эти, им воспетые глаза –
горечь знанья и победа света,
то, чего не ощутить нельзя,
объяснить – слабо перо поэта.

Зная всё, не зная ничего,
вглядываясь, думаем, робеем...
Два столетья смотрим на неё.
И жалеем, и благоговеем.

* * *

Колокол – устройство непростое:
чаша, опрокинутая вниз,
полная безмолвия, покоя...
Но язык коснулся – даль и близь
гулом переполнились, качнулись
и поплыли, как благая весть,
по весенним руслам тесных улиц,
окликаая всех, пока мы здесь,
в этом мире – о другом напомнить,

о высоком, горнем – без словес,
звоном, непонятной мощи полным,
восходящим к музыке небес.

* * *

Румяное небо заката
над светлой и тихой водой.
И поле овсяное сжато,
и лес начинает листвой
сорить на грибные поляны,
опушки, дорожную грязь...
Рюкзак мой сегодня с грибами.
И кажется – жизнь удалась...

* * *

За коляской хожу, как за плугом...
Инна Лимонова

Как непросто – двух парней поднять,
научить всему, поставить на ноги,
горький лепет выслушать, понять,
разделить и окрики, и пряники.
И большой беды не миновать,
и понять пытаться:
– Как же это? –
Мать убийцы сына,
тоже – *мать*,
а совсем другой бедой задета...

* * *

Если тучу называют тучкой –
туча тает, в облаках теряясь.
Все болезни детские – «растучкой»
бабка называла, полагаясь
в основном – на то, что мир – премудро
сотворён, и в нём не всё понятно,
но осилишь ночь – наступит утро,
даже если есть на солнце пятна!
И крутилась двигателем вечным,
занята домашними трудами –

обеспечить всех теплом сердечным,
щами, рубашонками, хлебами...
И когда родную хоронили –
поняли, как солнца убывают...
Куст сирени на её могиле
вырос.
В нём – жар-птицы расцветают!

* * *

И струится тропа соловьиная,
и сквозит, словно тайный свет,
исчезающе-необъяснимое,
то, чему и названия нет.
Подступает, как сумерки поздние,
то глубинное, что роднит
тишину – с полночными звёздами,
незабудку, звезду, родник...
Страшно ветку задеть нечаянно –
вдруг звезда разлетится в прах,
и погаснет свеченье, звучание,
сокровенное, изначальное,
полусвет-полутьма в глазах...
Только с преданностью собачьей
Вслед за нами бежит луна,
и тропа музыкально-прозрачна,
как ручей – до песчинки, до дна.

* * *

Понедельник чистый, небо чистое,
и мороз, и солнце на снегах,
и предощущенья свет таинственный,
что недаром день пройдёт – в трудах.
И тебе откроется крупница
знания о жизни и любви.
Звонко цвинькнет за окном синица.
В мае ей ответят соловьи.

* * *

Сколько лиц – таких родных и разных!
Вот что значит – на свои круги...
Возвращённой молодости праздник,
где на стол – вино и пироги
водружают...
Но – неповторима
и щемяще-снежна седина
тех, кто всюду был с тобой незримо,
кто всю горечь жизни знал – до дна.

* * *

*Мы проплываем по Вселенной,
Где нет ни берегов, ни дна...*
Г. А. Паушкин

Замираем – нам открылись бездны,
волжским влажным зеркалом воды
в полночи удвоенные – с лесом,
тем, правобережным...
Чуть видны
огоньки заречных деревенок
меж плывущих в глубине светил...

Это твой рисунок, современник.
Тютчев – после, позже поразил...

* * *

Когда уходят те, кто нас моложе,
я вспоминаю – мать бранит сестрёнку:
– Без очереди! как же это можно!
Я – старше, что же я-то не умру?..
И мучилась ещё лет десять,
потихоньку
на кухне двигала кастрюли без конца,
кляня морозы, холод, перестройку,
и Берия, и Сталина-отца...

* * *

Таёт полумесяц
в утреннем тумане
ломкой тонкой льдинкой
в ледяном стакане.

Таёт – не растает,
уплывает в нети...
Человек вздыхает:
– Я один на свете...

– Ты один, конечно,
но припомни – где-то
от тебя, сердечный,
кто-то ждёт привета.

* * *

Господи, да что же это делается?
Снова вишня по садам цветёт,
и печально радуется сердце,
в синеву взлетая, и – поёт!
Ай-люли, а может – гули-гули...
Облака, спустившиеся в сад,
нам былые дни любви вернули –
и теплом, и лаской дышит взгляд.
Годы пролетели, не мгновенье...
Нам всё снится свадебный обряд,
над садами – призрачным виденьем –
сонмы белых звёздочек парят.

* * *

Без копейки – из Подмосковья –
автостопом – до Усть-Илима!
Это можно только с любовью,
с Богом, что охраняет незримо...

А вернулась – глаза ошалелые
от победы над всеми просторами,
повзрослевшие, светло-смелые,
восхищённые: – Было? Здорово!

Из стихотворения «Лжепророк»

2.

Опасна поэтическая речь,
но лжепророка – успокоить нечем.
«Нельзя, нельзя – сердца глаголом жечь!
Их надо выжигать, а не калечить!»
А тут – дожди, за ними – холода,
и глад, и мор, и ропот, и стенанья.
И с высоты – сверхновая звезда
невиданное миру льёт сиянье...
Восток в восторге: «Истина грядёт
С Востока!». Запад акции скупает.
Фанатик направляет самолёт
на небоскрёб и в пламени сгорает...
В ответ Кабул пылает и Багдад...
И вне игры бессильная Россия,
где хмурые – не верят брату брат.
И чуда ждут: «Ну где же ты, Мессия?»
Раздрай, разгул... А чуда нет и нет.
Толпа пророков рвётся в депутаты.
Там встретятся – и доктор, и поэт –
над грешным телом родины распятой.
Боюсь, не ангел скальпель отточил,
вложил в ладонь, и отуманил чувства,
и подтолкнул: «Кажись своё искусство!»

Но разве Пушкин этому учил?

* * *

В сердцах, неосторожно слово чёрное
сорвалось с губ – и ранило сынишку,
и запеклась вина моя бесспорная
в сердечке нежном, может, даже слишком...

Пусть я виной своей отягощён,
живу и мучаюсь, он это мне припомнит,
и пусть со временем я буду, может, понят,
но вряд ли буду до конца прощён.

* * *

И праздник – не праздник вдали от тебя.
И ты мне не пишешь из дебрей столицы.
И я не звоню, не зову, торопя,
я сплю: пусть ресничка хотя бы приснится...

* * *

Все попытки объяснений зряшны.
Делай дело. Лечит только труд.
Не живи обидою вчерашней,
по трудам увидят, воздадут...

Ты не первый в деле, не последний,
не ищи ни выгод, ни наград.
Бреднями твои объявят бредни.
Ты – не прочь – заметили! – и рад...

А тебе предсказано иное –
постиженья долгий, трудный путь.
Что тебе докучный шум приборя? –
Дальше – в глубину... Нырять. И будь!

* * *

Дача – это то, что вам дают.
А дают участок на болоте.
– Остальное сами наживёте!
Сами создадите свой уют.

И годами дачники снуют,
строят и дворцы, и сараюшки.
Возят землю и сажают груши,
год-другой – и яблоньки цветут...
Вот и дача, вроде, удалась.
Но – болезни... Подступает старость.
только на крыльце сидеть осталось.
А трава на грядках поднялась,
но сражаться с нею нет ни сил,
ни охоты... Яблони повяли,
приносить плоды свои устали.
И петух своё отголосил.

Подступило время долгих зим,
и в трубе – метельных завываний...
Запалённой сигаретки дым,
синенький дымок воспоминаний.

* * *

Машем страшной атомной дубинкой,
всем грозим устроить тарарам!..
Фермер Джон, владимирской глубинкой
восхищённый, строит Божий храм.
И твердит: «Россия – это сказка!»
Храм и впрямь – как терем-теремок.
Русская жена. Любовь и ласка.
Видно, Джону вправду – Бог помог.
И коровник – как дворец – у Джона,
и течёт по трубам молоко...
А сосед вздыхает отрешённо:
«Он – чужой, с деньгой, ему легко...»

* * *

А нынешние как-то проскочили...
В. Высоцкий

Я с тридцать седьмого – живу,
седьмой доживаю десяток...
Вся жизнь моя – сон наяву,
вся – памяти горький осадок...

Поэты должны уходить
в расцвете земного здоровья?
Прядётся, не режется нить...
Знать, Парки взирают с любовью
на нищих, убогих, слепых,
вещающих или бубнящих
хромой искалеченный стих,
из самых в столе завалящих...
Меж войнами выпал нам срок,
и старость – бездонно-жестока.
(Но зря ли Платонов изрёк:
«В России – жить надобно долго...»)
Жить – надобно! – чтобы понять
истоки, глубины и выси,

и всем существом осознать
тоску запредельную мысли.
О Родине – нищей, святой,
беспомощной, страшной, могучей...
Над ней – как венец золотой –
луч солнца сияет из тучи!

* * *

Как можно – с Музыкой – на ты...
Неосязаемая тайна
её звучанья с высоты –
божественна, необычайна...
И рокот, мощь её басов,
органный рёв, и струнный трепет,
и хор высоких голосов –
врачуя дух, лелеет, лепит
в тебе – тебя...
Ведь ты – дитя,
а должен в небо взмыть, как лебедь!

Меры и почва поэта

В 1992 году Николай Беляев, большая часть жизни которого прошла в Казани, покидает её и поселяется в селе Ворша, что во Владимирской области. Что заставило поэта решиться на столь кардинальный шаг в своей жизни? Ответ на это, кажется, находим в его стихах:

До царя далеко, как до Бога,
да не лучше и рядом с царём:
надо кланяться, лгать, что дорога
оптимальна, по коей идём.

Потому, наверное, и представилось поэту, что «лучше сгинуть в российской глубинке, // стать отшельником, лесовиком, // землянике, чернике, бруснике // отдавая в охотку поклон», чем в угождающей улыбке и позе пресмыкаться перед кем бы то ни было. Признаться, в наше время всё тяжелее бывает прожить без этого. И пора бы признаться и в том, что дорога, по коей идём, совсем уж не оптимальна. Поэтому не лучше ли на самом деле присесть в сторонке, чем всеобщим гуртом двигаться в неизвестно каком направлении? Можно, конечно же, трактовать такой поступок как проявление гражданской пассивности, слабоволия, инертности и даже как отсутствие самой гражданственности. Но уж в этом Беляева ничуть не заподозришь. Его стихи, особенно последнего десятилетия, тому подтверждение. Хотя для непосвящённых отмечу, что поэтическая биография автора насчитывает не одно десятилетие.

Евгению Евтушенко принадлежит знаменитый стих, как нельзя точно выражающий место поэта в русской жизни: «Поэт в России больше, чем поэт!». Можно писать великолепные, мастерски, даже гениально исполненные стихи, каковых сейчас достаточно. Но если поэт не выражает чаяний людей, их самых насущных раздумий, болей, которые высказываются только в кругу самых близких, такой поэт не будет признан – не в смысле оценён с эстетической точки зрения, что связано с известностью и славой, а признан, «узнан» как свой, коему люди признательны и благодарны. Беляеву не нужны слава, известность, иначе зачем бы ему уезжать в глубинку. Но читать его стихи без чувства благодарности к поэту невозможно.

Я не зря в разговоре о Беляеве коснулся стиха Евтушенко. Они практически ровесники. И формирование творчества обоих авторов шло примерно в одно и то же время – в конце 50-х – начале 60-х гг. прошлого столетия. Как известно, это эпоха первой «оттепели», отмеченная высокой гражданственностью искусства и литературы, особенно поэзии. Это можно сказать и о стихах Евтушенко, принадлежавшего к знаменитым «эстрадникам». Думаю, что корни гражданственности творчества Беляева тоже уходят в те уже далёкие годы, но своего накала она достигла именно в 90-е – в начале 2000-х.

В своих стихах Беляев без обиняков, лицемерия и ужимок говорит о проблемах, которые не могут не волновать сегодня хотя бы мало-мальски трезвого (и в прямом, и в переносном смысле) человека. Порой они высказаны в виде вопросов: «Чем век наш знаменит?» // Сбылись ли предсказания, мечты, надежды, чаянья, // завещанные лучшими? // Иль всё – одно враньё? // Прекраснодушных мальчиков наивные писания... // А над Россией – тучами – всё то же вороньё...».

С годами вопросы перевоплощаются в раздумья, полные сомнений. И бремя этих раздумий только растёт и приводит к весьма не утешительным выводам о падении культуры, даже в лице интеллигенции, долженствующей быть по своему призванию духовно-нравственным ориентиром нации. Но что значит современная российская интеллигенция? Кажется, сегодня ею может называться любой: достаточно иметь высшее образование или хотя бы каким-то боком относиться к образованию, науке, искусству, культуре. И для многих не существует представления, что интеллигент, прежде всего, – это человек с высокими духовными устремлениями, моральными принципами, осознающий ответственность за судьбу народа. Потому и происходит то, о чём пишет Беляев:

Как надоел перед камерой,
всероссийской отныне,
полуинтеллигентский,
необязательный трёп <...>
Стыдно после Чернобыля –
тешиться разговорами
о Мальдивах, Канарах,
и иных островах,
или судачить с улыбочкой
о Пугачёвой с Киркоровым,
пряча за их бездарность
свою пустоту и страх...

Безответственная болтовня, густой патокой льющаяся из слово(славо)охотливых СМИ, ничуть не способствует решению проблем, а лишь усложняет и умножает их. А их, действительно, накопело: это и проблема пьянства («Нечто аграрное»); и пресловутый, нерешённый со времён революции 17-го, даже раньше – со времени отмены крепостного права, вопрос о земле («– В Гренаде – пожалуйста! Ближе – с трудом...»); волнуемые со времён Гоголя размышления о путях Руси-тройки («Пыль клубится – Боже правый!...»)... Мало ли!

Много чего томит Беляева, наполняет его душу предчувствиями. Кстати, предчувствие, предощущение – основное чувство в поздних стихах поэта. И не обязательно оно связано с общественной по сути и негативной по характеру проблематикой. Им проникнуты даже эмоционально светлые стихи о природе, творчестве, России: «Понедельник чистый, небо чистое, // и мороз, и

солнце на снегах, // и предошущенья свет таинственный, // что недаром день
пройдёт – в трудах»; «...оживают белые берёзы, // стряхнув ненужный иней
кружевной <...> весну предчувствуют, // и нам пророчат дни, // когда раста-
ют все снега в России!».

Добро бы, чтобы все предчувствия были полны такой надеждой. Часто в
стихи Беляева проникают чувства тревоги, вины, ощущения беды: «мир всё
непостижней и мятежней <...> Все мы на прицеле, на примете, // виноваты
все – одной виной, // все – сидим на сайтах в интернете, // дети нашей родины
больной». Времяпространством «русской беды» становятся всё более
сгущающиеся сумерки: «...над Россией – сумерки, // их лиловатая мгла...»;
«Наше настоящее – убого, // до костей пронзил вселенский мрак, // кружит в
бездне пропасти дорога, // да из тьмы не вырвется никак». Страх настолько
силён и непреодолим, что сравним разве что с необъяснимым ужасом чело-
века, испытываемым им, например, ночью в лесу:

...Мы пригляделись – из ветвей еловых
на нас смотрели три больших совы
глазами жёлтыми – тревожно, не мигая...
<...> может,
не совы это – филины сидели
на ветках в сумраке еловой тишины?
На всякий случай я в ладони хлопнул.
<...>
Нам стало неуютно...

Истоки этого страха утопают во мгле мифических времён. Но почему-то
возникают эти стихи среди произведений о современности. Случайно ли?
Думаю, нет. Как не случайно и то, что вдруг в размышлениях о современном
появляются «исторические» стихи, такие как «Древляно-полянская история»,
где «над миром вызрела Беда». Тут уж нужно вести речь о глобальном, свой-
ственном нам изначально и пронесённом через всю историю ощущении Беды
и Страху, реализующихся на очередном витке нашей судьбы-рока.

Сумеет ли мы когда-нибудь преодолеть её неумолимую логику? Воз-
можно, если перестанем создавать вокруг себя мнимости, обманывать самих
себя. Но действительность подтверждает обратное: «старая, как мир, исто-
рия» идёт по путям лжи, подмен. Мотивы обмана, иллюзий, суеты сует – од-
ни из ключевых в поздней поэзии Беляева: «– Обласкали – облапили, чмок-
нули, // усыпили словами хорошими, // не был чокнутым – словно бы чмок-
нули, // а в итоге – кругом облапошили...»; «Люди, в целом – они хорошие, //
жаль, что нас так легко обманули...»; «Нам никто не задаёт вопросов, // каж-
дый – занят кучей срочных дел. // Бизнес – лозунг храбрых демороссов, //
подменён словечком *беспредел*»; «В кухне – телевизор // по вечерам о ново-
стях щебечет, // и редко что-то дельное вещает, // дурачит чаще, развлекает
нас...». В этой беспредельной лжи даже «...наука думает – и видно, близок

срок – // грозит не воскресить – подделать человека»; даже «поэзия – в своей основе – ложна, // она – отставший от столетья звук...».

Но поэту не быть поэтом, если, подобно пророку (а у нас другим поэту и не бывать!), не указать мер, которые помогут отличить истинное от ложного, путей спасения, не вывести к почве, как сделал это в ветхозаветные времена Моисей. Самыми высокими мерами, определяющими нравственную состоятельность человека, его поступков, жизни, являются в поэзии Беляева вера, искусство, вечность. Их «знаками», помогающими не сбиться с истинного пути спасения, «светятся» многие стихи поэта. Это и колоколенка, которая, «как перст в небеса» «указует нам, непонятливым»; и «свеча на столе – это тоже всё тот же намёк»; и колокол, смысл гула которого – «в этом мире – о другом напомнить, // о высоком, горнем»:

Он в себе хранил веками тайну
тайну веры, жизни и любви.
<...>
...больной, надрывный стон металла
нам пророчит что-то впереди,
призывает, чтоб Россия встала,
с новой светлой верою в груди.

Некоторые стихи Беляева озаглавлены именами поэтов, просто близких людей или посвящены им. Это не «рядовые» заглавия и «дежурные» посвящения. Для поэта эти люди – тоже своеобразные «меры», «указующие знаки»: «Булат Окуджава», «Читая прозу Давида Самойлова», «Антокольский», «И всё, что для другого – только хлам...» (О. Чухонцеву), «О этот рокот в трубке телефонной...» (Вилю Мустафину) и др. В стихотворении, посвящённом В. С. Лаврентьеву, поэт пишет о «мере» стиха:

...звучит строка бессмертная – и мы
внимаем ей – и тень бывшего счастья
нам греет душу, наполняя верой,
что всё не так уж безнадежно, если
звучат стихи... Звучат.
Звучат *стихи!*
(Курсив автора – Р. С.)

И, наконец, знак вечности – *звезда*, у Беляева как бы спустившаяся с небес, дабы быть ближе к человеку в его бездонной падшести, придающая его быту бытийный смысл:

В беспросветном колодце,
в чёрной бездне нужды
вдруг – лучом уколется
вечно новой звезды.

И почувствовав радость,
встречный трепет её,
светоносную святость
и не быт – бытиё.

И верится, что всё устроится, вернётся «на верный путь», «на свои круги». Для Беляева это связано с обретением почвы. В его стихах понятие *почвы* получает очень широкое значение, включая в себя целый комплекс нравственных ценностей, идеалов поэта. Это, прежде всего, семья, родные и близкие люди. В своеобразный цикл по своему эмоционально-смысловому наполнению выстраиваются стихи, самым автором в цикл не объединённые, – это произведения, посвящённые истории рода, семьи: «Из семейного альбома», «Памяти архиерея Августина», «Вот-вот достигну возраста отца...». Семья, близкие дают так нужные людям чувства связи, родства, нужности, помогают преодолеть одиночество: «– Ты один, конечно, // но припомни – где-то // от тебя, сердечный, // кто-то ждёт привета». В семье кроются корни родства, кровной связи с родиной: «Мне так близка – и лиловатость пашни, // и роскошь зелени, и воздуха объём, // и странная деревня Пролей Каши, // и думается – умирать не страшно, // но мы ещё подышим, поживём!».

В семье закладываются нравственные основы человека: понятия добра и зла, чести, совести, ответственности, любви... Не случайно поэтому, в свете ценностной ориентации Беляева, у него много стихов так называемой нравственно-психологической направленности. В их числе особо хочется отметить «Восемнадцать раз рожать детей ...», «Детское», «– На-ка, покажи! – и нагловатый...». Память поэта сохранила эпизод прогулки с отцом, когда им навстречу попались два телёнка, один из которых вдруг решил бодаться с людьми: «Но как глянул на него мой папа, // да как гаркнул: «Гитлеру – капут!» <...> – Ты – ребёнок, и со мной ребёнок! – // Папа примирительно сказал». Вот из таких, на первый взгляд незначительных, эпизодов и рождается в человеке человечность – его самая прочная почва. А чтобы она – не дай Бог! – не просела, человеку даны такие же прочные опоры: вера, надежда, любовь. В стихотворении о брате деда «Памяти архиерея Августина» «вера – всё одно – // с молитвой только крепла, не слабела», несмотря на перипетии жизни, репрессии, обрушившиеся на человека. Поэт верит, что «всё-таки жива Надежда в мире». Жива, потому что жива в мире Любовь, с которой и смерть не страшна: «Смерть предстанет не грозной старухой – // той, кто всех нас любовью спасёт».

Почвой поэта являются *слово, язык* – составные части понятия родины. Беляева переполняет гордость за «великий и могучий»: «...русскому не знаю я аналогов, // велик, как небо, мой родной язык». В другом стихотворении поэт находит высший смысл слова: «...в слове ищешь основ // понимания мира». Таким образом, язык и слово связаны у Беляева с поисками смысла существования, лежат в основе его миропонимания, философии жизни. В связи с этим, укажу на ещё одну её составляющую, которой посвящены одни из самых мелодичных стихов автора, – на *музыку*. На экземпляре книги

«Помню. Слышу. Люблю...» в посвящении Е. Н. Бурундуковской Беляев пишет: «БУДЕМ! И – да здравствует МУЗЫКА!». Как видно, высокое понятие Жизни, выраженное в написанном сплошными прописными буквами слове «БУДЕМ!», приравнено поэтом к *музыке*, оформленной той же графикой и отмеченной также восклицательным знаком. Таким жизнеутверждающим, душеспасительным смыслом наполняет Беляев Музыку и в своих стихах:

Лечите душу музыкой – она
утешит, объяснит и обнадёжит,
в часы, когда за тучами луна,
и день, как ни крути, бездарно прожит.
И не приносят радости труды,
и от раздумий голова седеет...
Лечите душу! От любой беды
спасает Музыка. Она лечить умеет.

Такой же «лечебный» эффект у Беляева обретает природа – это ещё одна его основа, почва: «...под утро душу лечат дали, // лес в снегу синееет за окном. // Веет, веет всё-таки весною! // Пахнет Русью, снегом и дымком, // стружками, лохматою сосною, // яблоневым цветом за окном». Стихи поэта о природе напоминают молитву. Он словно находится в позе молящегося, предстоящего перед иконостасом в ожидании Чуда. В интонации поэтической молитвы выдержано, например, стихотворение «Вишня, вишня, вишенье...»:

Вишня, вишня, вишенье...
Тише, тише, лишнее!
Не шуми, постой молчком,
пред чудесным облачком,
как пред мирозданием,
как перед посланием
людям – с Млечного Пути...

Не читай – гадай и чти!

Многие стихи поэта дышат ощущением полноты жизни: «Господи, да что же это делается?..», «Кого благодарить за это счастье...», «И вновь повеяло теплом...» и др.

Большую роль в выражении чуда жизни выполняет деталь, как, например, в стихах: «Сад балует осенним урожаем, // лиловых слив медовою кислинкой, // налётом синим, под которым – мякоть // янтарная...». Сливы описываются так пластично-образно, что невольно ощущаешь во рту привкус спелых слив – и хочется их до жути! Эти и подобные им стихи – свидетельство почерка мастера. Читая их, обретаешь надежду и веру, что мы всё-таки БУДЕМ!

БУРУНДУКОВСКАЯ

Елена Викторовна

«Музуровские номера»

Коридорное детство.

Кастрюль беспризорных ряды.

Зачажённый тоннель.

Долгопамятный путь безоконный.

И ступени во двор виновато-скрипучи, круты,

И на лавочке дед, как Никола-угодник с иконы.

Этой жизни чудной, угловатой, пропахшей до дна
Керосиновым, неистребимым отеческим дымом,
Слаще нет.

Я с рождения заражена

Коммунальным,

воинственным воздухом,

горьким, сладимым.

И в отдельной квартире, как в осени жадной,

чужой,

Заигравшейся мало мне места.

И небесный покров, как тягучий тоннель, зачажён,

Пешеходный тоннель в коридорное, общее детство.

* * *

В соборе католическом темно.

Пугливы свечи, стираны скатёрки.

Здесь прошлое с лихвой сохранено,

Здесь ничего не смазано, не стёрто.

Фигурки деревянные святых,

Раскрашенные, пёстрые одежды.

Архангелы, притёртые впритык,

Согнули свои пальчики потешно.

Здесь дышится и ровно, и легко.
И пламени живому колыханью
Едва ль причиною моё дыханье,
Но что-то там, в приделе, высоко.

Там вертикальные стоят века.
И я сквозь них как будто прорастаю.
Теку сквозь них, как сон или река,
Пока не потеряюсь, не растаю...

Вечер. Дождь

Дождя безутешные всхлипы.
Бульвар обезлюдел, затих.
Как мокрые курицы, липы
Наохлились в гнёздах своих.

Мы бродим и слушаем вечер,
Размытую, смуглую речь.
И тянутся тени навстречу
Неясным предчувствием встреч.

И воздух пропитан прологом,
Зелёной загадкой начал.
И катятся капли полого,
И ластятся листья к плечам.

* * *

Деревья уже оголились,
И сняты покровы с небес,
Просторы и дали открылись,
Которые скрадывал лес.

В природе ни боли, ни муки,
А лишь равнодушие одно.
В пространстве рассыпаны звуки,
Рождённые ветром, дождём.

И только, как пойманный в клетке,
На ветке листочек один.
Один на один против ветра,
И с жизнью один на один.

Отражение

Какая в зеркале хранится тишина!
Два слова, брошенных неосторожно, –
Гусиной кожей, водянистой дрожью
Поверхность амальгамы сведена.

Удушливый, тревожащий покой
В уставшем доме. Скрипнет половица, –
И дверь сама собой приотворится...
И кто-то зеркала касается рукой.

Одушевлённый мир явлений.

Бытиё

Загадочное, тесное, глухое.
Я – тень, я отражение твоё.
Я – только нерв непрочного покоя.

* * *

Есть час единственный на протяжении суток,
На грани дня и ночи сумеречный миг.
Меж тьмой и светом слабый промежуток,
Куда рассудок трезвый не проник.

Тогда привычные понятия разъяты,
И только времени медлительный песок
Молочной струйкой льётся синеватой...
Под пальцем сбивчиво пульсирует висок.

И пыль вселенская усеяла листы.
Тысячелетний ветер штору треплет.
И близких звёзд косноязычный лепет
Расслышишь ли с кромешной высоты?

* * *

Разреженная шевелюра клёна
Мотается в оконной раме.
Чем этот сумрак застеклённый
Чреват – потерями, дарами?

Листвы задрогшей трепетанье,
Сухая муха в паутине.
Загадка жизни, смерти тайна
На ученической картине.

И, растворяясь, исчезает
Смысл, не успевший зародиться.
Смотри, как листья улетают,
А может, опадают птицы.

Из дачного окна

Как шейная жила, день напряжён.
Затишье предельно.
Воздух взрывается, прёт на рожон.
Быть хочет при деле.
Кустарник пугливый к земле пригибать.
Пластаться, аукать.
И влажную спину, как зверь, выгибать.
И ставнями стучать.
На даче соседней проверить чердак,
Скрутить занавески.
Затихнуть и всхлипывать жалобно так.
По-детски.

* * *

Весна.
Опять природа оживает,
Проходит перевоплощений ряд.
И солнце – рана ножевая,
И птицы без умолка говорят.

Вот – Вербное,
а там, глядишь, – и Пасха.
И корочкой – небесная глазурь.
А с прошлым расстаёшься без опаски –
Оно соринкой колется в глазу.

Безудержное это воскресенье
Последний прогоняет тяжкий сон,
И в церковь дух березовый, весенний
Из рожицы соседней занесён.

И, первый обновления поборник,
Кто в тайны мироздания вовлечён —
Шагает улыбающийся дворник
С лопатой,
 как с хоругвью за плечом.

* * *

И май, и тютчевские грозы,
И радуг райские мосты,
И заново рождённый воздух
Первоначальной чистоты...

И жизнь — безделица, вещица,
Доставшаяся без труда.
И на лотке у продавщицы
Редиски рдеющей гряда.

* * *

Глядит в окно соседская сосна,
Стучится загулявший дождик
(Он что-то должен у меня узнать
И что-то важное сказать мне должен).

Я выйду в сад, где ветерок ручной
Играет, ластится,
 проказливый, домашний.
Дохнуло влагой, свежестью речной,
И кто-то издали рукой мне машет.

Там, у ворот, крапива и пырей
С малиной в тесноте растут обнявшись.
Всё в золотой, заманчивой поре...
А дождик смолк,
 как будто застенявшись.

* * *

Те семена взошли, которых не садили,
Негаданные вызрели плоды.
А там и заморозков первые седины,
И старости напрасные труды.

Что, человек, ты вымолил у Бога,
Что сотворил, не ведая о том?
Вот сын растёт, опора и подмога.
Вот яблоневый сад и отчий дом.

И в этом суть вещей, сермяжная, простая –
Сидеть на лавочке под вечер у ворот,
Следя, как белый след в высоком небе тает,
И сорная трава без усталости растёт.

* * *

Простынка снежная, широкая кайма.
Опять зима созвездьями богата.
Полжизни – ночь. Полжизни – кутерьма.
А твердь небесная, как и всегда, поката.
И жизнь, как яблоко, кругла и зелена...
Листовою пахнет, яблоком и снегом.
Кленовые мерцают семена –
Живая связь между землёй и небом.

* * *

Как после вчерашней метели
Светло и бело на душе!
Подолы раскинули ели,
А воротники – до ушей.

Пичуги, теснясь и стесняясь,
С утра облепили балкон,
И снежная пыль, словно завесь,
Развешена возле окон.

Всё радостно в этой картине,
И время среди облаков
Течёт неизменно. И ныне

И присно. Вовеки веков
Так было и будет. Как веки
От солнца и снега дрожат!
Устали послушные ветки
Внезапную ношу держать
И клонятся долу. Не знаю,
За что эта радость дана,
Нечаянная и сквозная.
Кому я молиться должна
Об этих дебелых деревьях,
Об этих пичугах в окне.
Языческих идолов древних
Они повернули ко мне.
И солнце-Ярило ярится,
И всё озаряет вокруг.
И новая жизни страница
Трепещет и рвётся из рук.

* * *

*Плывёт в тоске необъяснимой
Среди кирпичного надсада
Ночной кораблик негасимый
Из Александровского сада.*

И. Бродский

Жилище ангелов бумажных
И Богоматери приют,
Плывёт кораблик наш отважный
Сквозь осень, мрак и неуют.

Сквозь узаконенную зиму,
Сквозь ледяную синеву
Плывёт кораблик нелюдимый
И замерзает на плаву.

Но ангелы надуют щёки
И заиграют на трубе,
Проснётся мальчик светлоокий
И зарыдает о себе.

И жизнь качнётся вправо-влево,
Подобно стрелке на весах,
Меж кромкой дня и коркой хлеба,
И горсткой пепла в волосах.

И будет в досталь зла и горя,
Достанет боли и стыда,
Как будто жизнь начнётся вскоре.
Другой не будет никогда.

* * *

Мы покрасили пол, и так стало счастливо вокруг,
Будто всё и зависело вот от такого решенья.
Мы синицу залётную сказками кормим из рук,
И уже зачтены неизбежные все прегрешенья.

И когда за окном опускается зимняя ночь
На безумную землю, которая всё дорожает,
Я с вязаньем сажусь и мурлыкаю что-то под нос,
И двухлетний сынок, повторяя меня, продолжает.

* * *

Детства сосновый запах,
Каникулы у реки,
Солнце в колючих лапах,
Бабочки, мотыльки.

Ещё мы не знаем сами,
Как эта река глубока.
Ещё мы в ладу с чудесами.
Ещё мы бессмертны пока.

* * *

Весна весь мир заполонила вдруг!
И я живу, и не считаю даты,
Когда сынок мой выпорхнет из рук,
И станет сыном, мужем и солдатом.

А он лопочет, вертится, звенит.
И как с весной, с ним никакого сладу!
«Петруха, лишь бы не было войны», –
Шепчу. (Ах, как старухи наши правы!)

А он звенит, былинке каждой рад,
И с каждой живностью дворовой дружен.
В неведенье – не ведает преград.
И мастерит из палочки оружие.

* * *

Когда мужчины спят,
Всё затихает в доме,
И я их тихий сон,
Как ангел, берегу.
Когда мужчины спят
Щекою на ладони,
Спокойно и легко
На нашем берегу.

И времени ручей
Журчит почти неслышно,
И щепочкой меня,
Счастливую, несёт
Туда, где свет и сон,
И веткою колышет
Тот самый человек,
Который всех спасёт.

* * *

Опять листва поёт, и пенится, и ропщет.
И ночью соловей клокочет без конца.
И снится снова мне размашистая роща,
Но нет уже со мной ни мамы, ни отца.

Их нет среди живых, а где они – Бог знает.
И тайну бытия никто не разрешит.
Волнуется листва, широкая, резная,
И ласковый сынок навстречу мне спешит.

* * *

На небе свежие сугробы,
Непроходимые снега.
Зелёным запахом укропным
Дохнуло из березняка.

Мелькают солнечные спицы,
Размазан почвы пластилин.
Пернатым поутру не спится
И не сидится дома им.

Природа сбрасывает кожу,
А вместе с ней и лишний вес.
День удивительно погожий
Отпущен волею небес.

В окошки пялится рассада,
Сыта, нахраписта, крепка,
И лопаются от надсады
Пакеты из-под молока.

Сигналит птаха боевая
На ультразвуковой волне,
И жизнь совсем не убывает –
Накапливается во мне.

Симфония души

Главным свойством стихов поэта Елены Бурундуковской я бы назвал их музыкальность, но не в том узком смысле понятия, с каковым чаще всего употребляют его критики и литературоведы в своей профессиональной деятельности, имея в виду под этим словом мелодику, звукопись, а в широком значении, включающем в себя все уровни поэтики – от низшего фонетического до высшего идейно-смыслового.

Действительно, стихи Бурундуковской очень мелодичны, напевны:

Учебник жизни собственной пишу.
Пишу – и рву, и комкаю страницы,
Где ничего не может повториться.
Пишу, и рву, и комкаю. Спешу.

Эти строки могли бы стать эпиграфом к лирике поэта. Не случайно, что первый стих дал название книге стихотворений, изданной в 2004 году. Здесь в полной мере проявилась напряжённость души автора, погружённой в нескончаемый процесс творчества, устремлённость к достижению совершенства, установления гармонии. Хотя, судя по смыслу фразы, до обретения этой гармонии предстоит пройти нелёгкий путь, стихи выстроены очень гармонично. Сквозные ассонансы *у, о* наполняют душу некой умиротворённостью, придают стройность расколыхавшим было её эмоциям. Такое чувство я всегда ощущаю, когда слушаю органную музыку.

Говоря о музыкальности стихов Бурундуковской, нужно прежде всего говорить об обилии в них "музыкальных" образов: «Детская скрипка поёт под сурдинку»; «Собираешь себя по крупичкам, // И читаешь, как ноты – с листа»; «Кто-то слово задумчивое нараспев произнёс»; «Певучей речи слог знакомый...»; «Голосистое дерево, усыпанное воробьями...»; «Опять листва поёт и пенится, и ропщет...» и др. А в заглавии стихотворения «Симфония утра» музыкальный лейтмотив явлен открыто, задавая тон звучанию произведения и выражая его ключевую мысль о высшей гармонии жизни.

Исток мелодичности стихов Бурундуковской, видимо, нужно усматривать в её музыкальном образовании. Но, конечно же, важнее всего здесь особый строй души, который присущ людям искусства, особенно музыкантам и поэтам со свойственным им углом мировидения, помогающим прозреть порядок, *лад* жизни. А ещё для них характерна погружённость в мир человеческой души, способность чутко воспринимать и воспроизводить её музыку.

«Голубиный, ласковый, короткий, // Долгий миг наедине с собой», – пишет Бурундуковская в своих стихотворениях, признаваясь тем самым в любви к тишине, к уединению. Но эта уединённость ничуть не свидетельствует об узости поэтического кругозора автора; наоборот, она расширяет его взгляд на мир. Его уединённость, погружённость в себя сродни приобщению поэта к творющейся на глазах жизни:

Сладкое время, когда всё замерло,
Прислушиваясь к себе.
Когда хочется встать на цыпочки
И вытянуть шею.
Если погладить дерево,
Оно вздохнёт и шевельнёт веткой...

В этом смысле поэт оказывается наедине не с собой, а «наедине со всеми». Причём он желает быть приобщённым не только к происходящему на глазах, но и к минувшему, а через него – к вечности. Мотив прошлого настойчиво звучит в стихах Бурундуковской: «В соборе католическом темно <...> Здесь прошлое с лихвой сохранено, // Здесь ничего не смазано, не стёрто»; «как мельницы, тени минувшего машут руками». И хотя прошлое «соринкой колется в глазу», поэтесса не устаёт вспоминать о нём, ведь там осталось её детство, мотивами которого окрашены многие стихи автора. Прогулки по аллеям памяти ему явно приятны: «Так и хочется к этим прилизанным, щуплым прильнуть // Раскосевшим дверям в бесконечное детство».

Эти «прогулки» порой погружают поэта в некое состояние не то сна, не то полузабытья, которому вполне созвучными оказываются мотивы сумеречности, вечера, ночи, мрака, выстраивающими художественное времяпространство стихов автора: «Ночь стоит за порогом»; «В три часа пополудни кромешная ночь»; «сумерек утренних стынущий сбитень»; «вот уже во тьме // Каналы переулков тупиковых». Даже книга – не жизни ли! – порой воспринимается в мрачных тонах: «Морщинистый, заплесневелый том. // Как в погребке, в нём сумрачно и душно <...> Чугунный мрак насупленных страниц». В «сумрачные» тона окрашено не только, так сказать, земное пространство, но и вся вселенная: «В тенистом полумраке бытия...».

В стихе «Эти сумерки *терпкие*...» (курсив мой – Р. С.) поэт даёт сугубо личностное, субъективное восприятие сумерек. Благодаря этому, мотив сумрака-мрака перерастает своё «реальное», прямое значение, обретая хронотопический, художественный смысл утрат, потерь: «Чем этот сумрак застеклённый // Чреват – потерями, дарами?».

В состоянии мрака, лишаящего лирического героя возможности видеть мир в его истинном свете, ему ничего другого не остаётся, как «надеяться только – на ощупь», бытовать, доверяясь лишь своим чувствам, душе, полагаясь на свои ощущения, проверяя ими состоятельность жизни и человека. Видимо, этим существованием «на ощупь» определяется ещё одно качество поэзии Бурундуковской – ассоциативность. Эта черта «раскрыта» поэтом, дана как бы «в процессе» в стихотворении «Есть память ощущений...»:

Вдруг что-то поднимается со дна,
Невнятное, как отраженье звука.
И вот уже протянута извне
Пространственная цепь ассоциаций.

И тень от абажура на стене
Качается. И голоса толпятся...

Так, через цепь ощущений, мыслей, чувств, переживаний происходит оживление видений прошлого, рождение поэзии «живой жизни». Благодаря ассоциативности поэтического мышления, поэту удаётся воскресить самое ценное. Одно из стихотворений начинается вполне пейзажной зарисовкой: «Как дразнят запахи пасленовых культур, // Когда спускается вечерняя прохлада // В весёлом сумраке запущенного сада // Среди воображаемых скульптур!». Но вот «как искра вспыхивает» «память ощущений» – и поэт оказывается на пути «В те пахнущие сладко времена, // Где осы беспардонные кружили, // И в небе зрела полная луна, // И мама с папой были ещё живы». Таков высший смысл ассоциативности, ведущий к обретению утраченного, к утверждению жизни: настоящей через былую и былой через настоящую.

А впрочем, время-жизнь едино: «Нет ни прошлого, ни будущего нет, // Только этот между выдохом и вздохом, // Безымянный, косо падающий снег, Обрамлённый перекладинами окон...». Ощущение «мгновенности» бытия и полноты краткого мига жизни свойственно Бурундуковской. Этот миг – едва уловимая черта, грань, на которой неизменно находится лирическая героиня. На его ощущении, может быть, даже предощущении, на нахождении *между* – между сном и действительностью, явью и неявию – осуществляется бытие всего мироздания и жизни поэта: «Неуловима жизнь, сиюминутна. // Ещё вдали. Уже – вчера» – здесь даже стираются границы между пространством и временем. Такое положение-состояние мира и поэта даёт автору право утверждать мысль о «единственности» жизни («В этой жизни единственной, где между «да» и «нет» // Только лезвие бритвы опасной просунется разве...»), а стало быть, её неповторимости и потому неоценимой ценности каждого мгновения существования. Этой мыслью Бурундуковская кажется мне особенно близкой И. А. Бунину, также как она близка ему и своей импрессионистичностью.

Основанная на стремлении художника к непосредственному воспроизведению своих впечатлений, настроений, импрессионистичность включает в себя такие признаки творческого письма, как, с одной стороны, размытость, стёртость, неясность картин, поскольку на первом плане – ощущения и переживания творца; с другой – мимолётность, неуловимость явлений, образов, так как в их основе не столько зримая реальность, обладающая относительной устойчивостью, сколько движения души человека. Всё это характерно для стихов Бурундуковской: «Черты неясные, глухие, // Приметы, стёртые на взгляд, // Способны вызвать ностальгию, // Настроить на щемящий лад»; из «Мимолётного счастья»: «Солнцем закатным снизу подсвеченный сад. // Снова мгновенная эта приснилась картинка. // Пышные гроздья соцветий висят, // Детская скрипка поёт под сурдинку». Даже в пластично-выпуклом, зримо-предметном пейзаже сквозит видимость, кажимость, миражность: «Прыткий ветер деревьям подолы задрал. // И кустарник в припадке, и клонит макушку. // Как мираж, растворяется белый квартал. // Бьётся тонкая

прядь на ветру, непослушна». И художественно это вполне оправданно, поскольку здесь всё рождено воображением поэта. То, о чём рассказывается в стихотворении «Мираж», откуда приведены строки, – не явления действительности, а желаемое, грёза, хотя, признаться, она и является для поэта высшей, самой что ни на есть *зримой* реальностью.

Особого внимания с точки зрения импрессионистичности требует к себе стихотворение «Вечер. Дождь». Считаю его одним из лучших пейзажных произведений Бурундуковской. Пожалуй, я назвал бы его «визитной карточкой» поэтессы. В нём есть что-то левитановское: вечер-сумерки, тишина-безлюдность, одухотворённость пейзажа, полная слитость природы и человека. «Мы бродим и слушаем вечер, // Размытую, смуглую речь. // И тянутся тени навстречу // Неясным предчувствием встреч». Эти строки – удачный пример для иллюстрации импрессионистичности письма поэта. Здесь «налицо» и размытость-неясность образов, и неуловимость-мимолётность бытия. Некое даже не чувство, а предчувствие, воплощённое в едва ощущаемом перетекании-превращении теней, отбрасываемых реальными предметами, в тени, в пейзаж души. Сплошь инструментованное, в своём финале стихотворение выливается в необыкновенную по своей лиричности музыку души, озвученной «сквозными» ассонансами и аллитерациями:

И воздух пропитан прологом,
Зелёной загадкой начал.
И катятся капли полого,
И ласться листья к плечам.

Бурундуковская – поэт своего времени. Вызревание лирика и обретение им своего, а не заёмного, поэтического голоса происходило в последнее десятилетие XX-го – в самом начале нынешнего века – чудовищного для нашего народа времени. Поэзия этих лет отмечена мотивами распада, ухода, запустения, явившимися отражением процесса распада страны, духовного разложения нации, подавленности человека.

«Запустенье, и ветхость, и запах печали в дому» – так начинает поэт одно из своих стихотворений. Человек оказывается лицом к лицу со вселенским хаосом, которое есть отсутствие гармонии, порядка. Автор чувствует опустошённость души, мотивированную этим, а ведь по его признанию, «ничто так не давит, как эта, внутри, пустота». Возникает неодолимое желание организовать силой своей души рассыпанные звуки жизни, хаоса мироздания, которое без человека – холод, безжизненность космоса: «Тепла в природе нет – // И жизни нет». Отсюда вполне понятное стремление поэта «наполнить» окружающую действительность человеком, любовью, состраданием, отчего реальность обретает смысл и таким образом гармонизируется: «...здесь всё движется любовью. // Лишь ей одной». Наступает «минута ясности», освещённая человеческой мыслью, творчеством, благодаря чему происходит обретение смысла жизни: «...вот уже я внятно слышу, // Как зреют злаки у межи. // Их голоса понятней, ближе, // И мысли вечные свежи».

В гимне человеку я усматриваю неподдельный, искренний гуманизм, чем всегда отличалась русская литература – тем она и велика. В этом смысле я назвал бы Бурундуковскую достойным продолжателем лучших традиций отечественной словесности. Традиционность – одна из характернейших черт творчества автора. В стихах поэта без труда можно услышать «нотки», мотивы, переключки с Баратынским (поэзия сумеречности), Тютчевым (поэзия мысли), Фетом (слитость природы и человека), Буниным (импрессионистичность письма) и другими классиками. Умело вплетены поэтом в узорную ткань стихов отдельные образы-аллюзии, реминисцентные выражения: «беременное небо» (Есенин), «как воду воздух пьём» (Пастернак), «растут, не ведая стыда, // Стихи одни да мусорные кучи» (Ахматова). Я уже не говорю о конкретных «указаниях» самой Бурундуковской в заглавиях произведений: «Прощание с Мариной», «Мандельштам. Реминисценция». Или в эпиграфе из Бродского к стихотворению «Жилище ангелов бумажных». Такова мера откликчивости, широты поэтического дыхания художника.

Вообще, жизнь воспринимается Бурундуковской как книга: «...новая жизни страница // Трепещет и рвётся из рук». Кстати, я усматриваю здесь ещё одну, глубокую связь с поэтом-современником Инной Лиснянской, переключку, например, с её стихотворением «Под переплётом». Жизнь-книга – явление культурное, окультуренное, то есть освоенная человеком система. Одна из лучших книг поэта так и названа – «Учебник жизни собственной пишу...».

Книга в русской культуре всегда (в последние годы, к сожалению, всё меньше) являлась носителем этики народа. Это характерно и для Бурундуковской, в связи с чем чрезвычайно важным оказывается этическое пространство её стихов, наполненных болью, состраданием, памятью, любовью:

Я не знаю, смогу ли прижиться на этой земле,
Обойдённой страданием, чувством вины обделённой,
С вечной тягой в крови к пепелищам, к остывшей золе,
К обжигающе яркой звезде, полуночной, студёной.

В поэтическом мире автора, как бы через увеличительное стекло души, всё масштабируется. Даже, казалось бы, самые маломальские предметы и явления мира обретают вселенские масштабы. Это помогает поэту наделить их огромной смысловой нагрузкой. Они начинают выражать собой «вечные» проблемы жизни и смерти: «Листвы задрогшей трепетанье, // Сухая муха в паутине. // Загадка жизни, смерти тайна // На ученической картине». Таков уровень мировосприятия и мировидения художника: «Кленовые мерцают семена – // Живая связь между землёй и небом»; «Июль прошёл. И лето решено. // В тяжеловесной формуле цветенья // Сквозит итог...».

Итак, жизнь одухотворяется, наполняется смыслом – благодаря усилиям человеческой души. Всё в человеке и через человека – такова философия поэта. Человек творит себя и мир: себя через мир и мир через себя. У Бурунду-

ковской дело порой доходит до того, что он смотрит на себя как бы со стороны, как на нечто им творимое:

Я нарисую всё как надо.
Я нарисую всё как есть.
Вдали толпящееся стадо.
Нахохлившийся, сивый лес...
И дальний голос электрички,
Что приближается сипя.
И мельком, сбоку, по привычке,
Глазами чьими-то – себя.

Здесь зримо воплощён выделенный Бахтиным ключевой принцип творчества: видение себя со стороны глазами другого. Тот принцип, который нами в писательской и в жизненной практике всё более утрачивается. А ведь без этого невозможны ни самоанализ, ни осознание греха, стало быть, закрытым оказывается путь к нравственному совершенствованию, что есть ничто иное, как *со-творение* самого себя. Вот каковы глубоко этические, морально-нравственные корни жизни и творчества. Без их осознания пусты и несостоятельны какие бы то ни было потуги приобщения к Богу.

Бурундуковской это удаётся, отчего душа поэта и Бытие оказываются целиком созвучны: «Как развиднелось к вечеру на небе, // Как прояснилось к ночи на душе...». Жизнь видится как чудо, Божья манна, необыкновенная радость. Всё настойчивее звучит мотив весны – сопредельное сумеречному, но совершенно полярное по пафосу «времяпространство»: «Весна весь мир заполонила вдруг!»; «Сигналит птаха боевая // На ультразвуковой волне, // И жизнь совсем не убывает – // Накапливается во мне». Даже на уровне фонетическом явлено торжество жизни: «И жизнь безделица, вещица, // Доставшаяся без труда. // И на лотке у продавщицы // Редиски рдеющей гряды». Звукоиды *рд*, которыми инструментованы эти стихи, зримо, пластично выражают мысль о *радости-даре* жизни.

Понимание её таковой сродни возвращению к изначальному восприятию мироздания, свойственному ребёнку, ещё им не утраченному. Может быть ещё и поэтому, а не только потому, что Бурундуковская – мать, и многие её стихи – о сыне, у неё так много стихов о детстве, хотя, безусловно, одно с другим тесно связано. Как бы там ни было, но одними из самых лучших созданий поэта представляются те, что воспевают жизнь в её незамутнённости, как *Чудо* – в каждом её проявлении, в каждом миге:

Шелушащихся сосен ласкающий шелест.
Розоватая кожица гибких верхушек.
И небесный покров тонкоперый ячеист,
И податливый полдень июньский воздушен...

Думаю, именно полнотой ощущения жизни объясняется метафорическая плотность этих стихов и вообще в целом стиля художника.

Такое целостное мировосприятие, основанное на единстве, слитости мира и человека, вырастает в творчестве поэта в целую симфонию жизни и его души: уже не отдельные, «рассыпанные» *звукоявления*, *звукпредметы* (эти понятия-неологизмы вполне применимы к поэтике Бурундуковской), а вся, без разъятия, действительность. Симфония жизни, отражающая полноту мироздания в его целостности, гармонически и гармонично сочетающая все предметы, явления мира, в том числе и человека. Это музыка бытия, длящаяся в веках, в поколениях: «Я с вязаньем сажусь и мурлыкаю что-то под нос, // И двухлетний сынок, повторяя меня, продолжает».

БУХАРАЕВ
Равиль Раисович

* * *

Когда мы с тобой разлучились
и вечность тебя повела,
вослед за тобою влачились
по хляби два белых крыла.

Как снег до пришествия стужи,
они осеняли собой
и грязь, и студёные лужи,
и листьев рябых разнобой.

И я, напрягая усилья,
восчувствовал жизнь нашу вспять
и понял, как снежные крылья
мешали тебе поспешать,

как, чувствуя в горнем свершенье,
ты мучился игом своим,
ниспосланный нам в искушенье
горючий кровей херувим.

Как ангелу первого снега,
которому не улежать,
тебе бы возреять с разбега,
да некуда было бежать.

Не зная иного занятя
своим окрылённым рукам,
ты грезил, что Божьи объятя
воздымут тебя к облакам.

Стезёю прямой и отвесной,
какою снега снизошли,
скользя над развёрстою бездной,
над вечным мученьем земли,

ты разве свеченье воскрылий
в прозрачной и призрачной мгле
да жгучее имя Василий
оставил на этой земле.

* * *

В грузинском духане, как а ласточкином гнезде,
над златозернистым Боржомом, прозрачною ночью,
мы ели арбуз, рассечённый подобно звезде,
и пели о вечном, а вечность настала воочью...

Я думаю, что же осталось от этих минут,
когда на веранде, распахнутой в звёздные выси,
мальчишечка с личиком ангела, живчик и плут,
заслушавшись песней о старых пролётках Тбилиси,

ты русою свечкой сиял над кончиною дня,
светло опочившего в дымчатом мраке долины?
Я думаю – что же осталось, помимо меня,
от жизни, лепившей мой дух, как Адама из глины?

Неужто в одной лишь вседневной работе моей,
на каторжной мельнице слов и душевных движений,
смеёшься и плачешь, присутствуя в жизни живой,
чем сам я, живое зеркало твоих отражений?

Когда ж, наконец, будет время тебя рассмотреть?
На звёздном пиру, вознесённом над миром высоко,
пою и рыдаю, и всё порываюсь стереть
с замурзанных щёчек узоры арбузного сока...

Закатные стансы

Пусть в замысле стихотворенья,
где я тебе муж и любовник,
с медовой травой забвенья
сплетается белый шиповник,
и в жёлтых камнях ежевика
прядёт кружева вождлений,
и эхо блаженного крика
живёт в сопряженьи мгновений.

Мне нынче хватает бессмертья
шмеля, стрекозы и цикады,
чтоб молча исчислить столетья
заросших развалин Эллады,
где зелень замлела от счастья
в сцепленьях взаимной неволи,
где нет у любви сладострастья –
лишь светлый покой после боли.

Под скалами – берег лекалом,
и море в сверкающих искрах
к отвесным ласкается скалам,
и свет откровений, неистов,
дух ядом целебным врачуя,
нисходит в цветы молочая,
божественной жизни не чуя,
божественной смерти не чая...

Заходится сердце от боли.
Душа цепенеет от страха.
Я только усилием воли
себя отличаю от праха,
но дух воскресает от страсти
в просторах звенящих бессмертий,
где шмель бередит ради сласти
развёрстые язвы соцветий.

Так пусть же под вечер продлится
жизнь с вечной горчинкою горя,
пусть воздух, как ангел, струится
над чувственным золотом моря,
покамест в стрекочущем зное
со счастьем сплетаются страхи,
и солнце мерцает двойное
в печальных зрачках черепахи.

* * *

Всё грешней, всё живей, всё тревожней,
всё печальней ложится строка...
Но художнику милостью Божьей
чем отвечу помимо стиха?

У него за душою немного,
только чувствует он чувством шестым,
что ясней очертания Бога
на листе, что остался пустым.

Оттого-то и сам, всё ничтожней
подчиняясь тому, что пишу,
о нечаянной милости Божьей
не для этого света прошу.

Настоящие стихи про Лондон

Совершенно незачем заговаривать зубы
тому, кто не видел, как мало в Темзе воды.
Меня занимают в Лондоне печные трубы
и маленькие сады.

Печные трубы предполагают наличие камина,
а это значит, можно вытянуть ноги к огню,
особенно, если погода невыносима,
но я её не виню.

Сыро и холодно, в общем, совсем промозгло,
сеется морось, и ноги скользят...
Зато в саду по утрам бывает даже морозно,
если есть сад.

Если есть сад – остальное не имеет значенья,
потому что иней лежит на ветвях поутру,
производя нечто вроде свеченья
на задувающем с моря ветру.

В день зимнего равноденствия, между затмениями
луны и солнца в девяносто втором году
я никого не мучаю поэтическими откровениями,
а просто по набережной иду.

Главное, чтобы сад и камин были данностью,
у меня же ничего этого нет,
и это неважно, ведь я уже не в ладах с реальностью,
иначе вместо этой действительности написал бы сонет...

Осень в частных лесах

Попривык к ежевичным оградам,
притерпелся к тому, что легко,
проморгал всё, что делалось рядом,
оттого что смотрел далеко.

На чужой – частный чей-то валежник
с неба сеется Божья вода...
Ты уже никакой не мятежник,
да и не был ты им никогда.

В ежевичной английской пустыне
не примни, что живёшь по уму.
Всё прозрачней становится ныне
непричастность твоя ни к чему.

В частной роще, где мокро и сыро,
вдоль по речке, слепой, как стекло,
всё, что по сердцу было, – уплыло,
что пришлось по душе – уплыло.

Долгий спуск разрешённой тропинки,
всё известно, что ждёт вдалеке.
От пожухшей уже ежевики
жгучий привкус на языке.

Уэй

Английская речка по имени Уэй,
невзрачно журча, притворяясь рекою,
лишь тем и созвучна такому покою,
что рифму даёт для вечерних ветвей.

Давно уж мне русская рифма скушна.
Тоска настаёт от иной, неминучей.
Уж если повинен в свеченьях созвучий,
пускай станут проще: вина – тишина.

Листок уплывёт по случайной реке...
С какого он древа? Неважно, с какого...
Вдохни тишины – вдруг да выдохнешь слово,
незнамо опять – на каком языке...

* * *

Вернулся бы, зная, зачем и куда,
уехал бы, зная, откуда...
Едины холмов голубая гряда,
и дел чуть початая гряда.

Мне не о чем больше зубами скрипеть.
Исполнено предназначенье
на грани, где жизнь превращается в смерть,
и смерть означает свечение.

Но разве не жаль, что я раньше умру,
едва ощутив Бога ради,
как сердце щемят на английском ветру
твои золотистые пряди?

Так дай же ты хоть наглядеться пока,
побыть возле этого чуда...
Зачем ты так солнечна и далека,
что мне не добраться отсюда?

Уже всё спокойней мой ищущий взор
минует холмы и нагорья,
не мня одолеть протяжённый простор
взаимного счастья и горя.

Живу как ничей и молюсь на восток;
довольно, что долг мой несметен
и прядей твоих золотистый поток
утешно душист и бессмертен...

На крыше

Отмечу – нынче Озеро в себе:
вода прозрачна,
высока,
опрятна...

На ближнем кряже – голубом горбе,
белея, тают солнечные пятна...

Привязан бечевой к печной трубе,
перекрываю крышу у знакомых;
молчанием участвую в судьбе
зверей и птиц, цветов и насекомых.

Гляжу и вижу: ёжатся кусты
в объятых налетающей прохлады...

Огнисто-рыжих лошадей хвосты
текут, струисты, словно водопады...

В единстве мощь, соитие и покой,
когда – почуяв зов, сцепив речницы –
моляще конь касается щекой
волнистой светлой гривы кобылицы...

Сияющего облака глоток,
и – мошкара в клубящемся трезвонце,
и – мотыльки слагаются в цветок,
в щемящем небе превращаясь в солнце,

и – нынче понимаю птичью речь,
служа насущной надобе-потребе...

Как хорошо,
что смысла не извлечь
из ряби на воде и птицы в небе!

Табун уходит в голубой туман,
и заключает ботала бренчанье
последнее, что вечно не обман:
служенье, бескорыстие, молчанье.

Осенний клёв

Рыбачка, сон, уют чердачный,
табачный аромат в избе...
Извечный беспорядок дачный
вручает удочку тебе.

За лист крапивы добродушный
пустой зацепится крючок.
Вослед, беспечный и тщедушный,
воскресный хмыкнет мужичок.

Но это мелкие невзгоды!
Назло суровому суду
сквозь правильные огороды
ты пробираешься к пруду.

Вокруг воды растут берёзы.
Над лесом – облачный дымок.
Качнут вечерние стрекозы
гусиный красный поплавок.

Печальный вокализ лягушки
расскажет сказку не спеша
о жизни крохотной старушки
в дремучих дебрях камыша.

А редкий дождь, листву листая,
поведает, что на Руси
клюёт рыбёшка золотая,
но исчезают караси...

Когда ж пленительно, нерезко
закат проявится в лесах,
блеснёт серебряная леска
в твоих намокших волосах.

Поманит смутная тропинка.
И цапля крикнет в тишину.
Сжав жёлтый кулачок,
кувшинка
уйдёт в ночную глубину.

Зимний гриб

Нашёл я в роще раннею зимой
морозный груздь пушистой бахромой.

Упал на снег последний жёлтый лист,
но гриб под снегом крепок был и чист.

Я срезал шляпку лезвием ножа.
Она была в надрезе так свежа!

И пахло в белой роще от груздя,
как летом, после тихого дождя, —

немного — дымом, чуточку — росой,
и тропкой, по которой шёл босой...

Гроза

Гроза, с яркой молнией наперевес,
с последнею тучей уходит за лес.

Едва поспевая за тучей бегом,
над лугом ворчит разговорчивый гром.

Иду за грозою, травинку грызя,
босыми ногами по глине скользя...

И воздух струится по следу грозы,
играя прозрачным крылом стрекозы.

Пчела

В. Д. Берестову

Пишу я шариковой ручкой.
Гляжу в окошко: у крыльца
цветёт орешник.
Жёлтой тучкой
висит над ветками пыльца.

Пока ручей журчит в овраге,
не то желта, не то бела,
по голубой моей бумаге
лесная ползает пчела.

К пчеле приглядываюсь: точно!
С цветка слетая на цветок,
испачкала пылью цветочной
и крылышки, и хоботок.

Она работала толково.
По капле собирала сок.

Я выпущу пчелу и снова
придвину голубой листок...

Большого требует терпенья
работа в домике пустом,
чтоб лёгкий мёд стихотворенья
сиял на блюдечке простом.

Дали молчания

Куда только не забрасывала судьба Равиля Бухараева, словно испытывая на прочность и выдержку. Его жизненный путь простирается от Великобритании до Австралии, от Венеции до Казани, образуя своеобразный крест, подъять который на рамена по силам разве что поэту.

Биографией жизни Бухараева мотивируется художественное пространство его стихов, так сказать, география поэзии, дали которой необозримы. Кстати, отметим, что поэт сближает эти понятия – *биография* и *география* – в двенадцатом сонете венка сонетов «Жук и Жаба». Их близость подчёркнута поэтом и в «Дне мёртвых»: «С простором домогаюсь я родства...», «я в родстве с простором».

Сопряжение географической дали с далью-судьбой находит своё наиболее кристальное воплощение в паре *даль-доля*, в которой даже звуковая близость понятий сигнализирует о неразъятости пространственных и судьбинных представлений автора, на пересечении которых рождаются его лучшие творения:

Господи, далеко и далёко,
в трудных грёзах и в чарах удачи
мнился мне чёрный хлеб – без попра́ка,
мнился мне ковш воды – без отда́чи,
мнилась мне тишина – без подво́ха,
мнилась мне вышина – без прича́стья,
мнилось мне, что поймут с полувздо́ха,
с полуслова и полунесча́стья...

Эти стихи открывают книгу Равиля Бухараева «Отпусти мою душу на волю», изданную московским издательством «Время». В них, в этих *далеко-далёко* изначально заданы просторы поэтического мировидения поэта, дали его души, чувств, переживаний – ведь именно об этом идёт речь в процитированных строках. Открыть её самые потаённые уголки – значит, познать, найти себя, смысл своей жизни – в этом и заключается цель творчества, в том числе и Бухараева.

«Я сопряжён с тобой // Божьими далеками...», – пишет поэт в стихотворении «Знаю, что ты живой...». Оказионализм «далека», синтезировавший в себе представления об уже отмеченных *далеко-далёко*, даёт возможность склонять эти наречия, несклоняемые по законам языка. А *склонять* – это значит увидеть их *как предмет*, открывающийся в различных ипостасях, в многообразии отношений с миром и положений в нём, то есть как предмет познания. Так даль становится не только *достигаемым*, но и *постигаемым* понятием, морально-нравственной, духовной, философской категорией – хроно-топом, аккумулятировавшим в себе самые волнующие, заповедно-сокровенные мысли и переживания, ценностные взгляды и установки автора.

В подтверждение сказанному звучат стихи поэта: «та же даль в миру // и те же духа тяжкие усилья – // взойти, как цвет вишнёвый на ветру...» («Моление о чаше»). В «Дне мёртвых» понятие пространства сопрягается с добром, человечностью: «Я чувствовал, что все ко мне добры, // ещё не понимая, что пространство // раскроено на страны и двory». Поэт пишет о «болях-просторах»; о «боли чужбины», что «раздастся вширь» («Венок дикорастущих сонетов»); о дали-воле в стихотворениях «Воля», «Отпусти мою душу на волю...», в цикле «Цветы граната»: «Любовь моя, мы наконец на воле!». Кстати, в первом стихотворении цикла в блестяще развёрнутой метафоре воплощена ещё одна даль – даль сердца:

Разинув глаза,
золотые зрачки стратотерпца,
летит стрекоза
сквозь пространства пустынного сердца.

Говоря о далях Бухараева, конечно же, нельзя оставить в стороне дали времени: «я озираю всю землю как родную, // века сверяя по ручным часам». В «веки вечные назад» («Великая сушь») устремлён поэтический взор автора, открывая всё шире и дальше дали памяти. «Ты волен жить и волен жить на воле, // но забывать не волен ты, увy...», – такую установку даёт себе поэт. И это оправдано не только творчески, но и по-человечески: в прошлом остался самый дорогой человек – безвременно ушедший из жизни сын.

Безысходной болью полнятся стихи поэта: «легко // проморгал всё, что делалось рядом, // оттого что смотрел далеко» («Осень в частных лесах»). Его душа потому и рвётся в дали, что они на время утишают боль. Но так и не находит себе места, не знает, куда прибьтсь («Вернулся бы, зная зачем и куда, // уехал бы, зная откуда...»). И стезя поэта нескончаема.

Я не ради красного словца обронил слово *стезя*. Это понятие в числе излюбленных у Бухараева, особенно в стихах, посвящённых памяти о сыне: «прямо к солнцу ложится стезя» («О тебе не подумал бы – был...»), «к какому-то иному откровенью // нас возведёт стезя» («Прости, что, на чужбину улета...»). Стезя – это путь не в горизонтальной плоскости. Это вертикаль, уводящая к Богу, по которой ушёл горячо любимый сын:

Стезёю прямой и отвесной,
какою снега снизошли,
скользя над развёрстою бездной,
над вечным мученьем земли,

ты разве свеченье воскрылий
в прозрачной и призрачной мгле
да жгучее имя Василий
оставил на этой земле.
(«Когда мы с тобой разлучились...»)

Неизбывная боль, прожигающая душу «стезей слезы», устремляет вслед за сыном и Равиля Бухараева, для которого этот путь становится стезей-поэзией: «нужно продолжать Дорогу // от слова к слову на пустом листе». Это и есть самая заветная Истина поэта, путь к которой в земной жизни нескончаем и потому которая так и не может быть изречена: «Неизречённость – истина – стезя» («С неизречённого»). Так рождается ключевой в лирике Бухараева мотив – мотив молчания.

«Улыбкой молчания» метафорически обозначил его поэт в «венке туманных сонетов» «Зов». Эта «улыбка» невольно воскрешает в памяти «божественную улыбку страдания» Тютчева из стихотворения «Осенний вечер». Как мы увидели, и у Бухараева она вызвана страданием. Не случайно, что мотив молчания, как и у Тютчева, звучит в стихах о поэтическом творчестве, речи. И мысль в них воплощена тютчевская («Мысль изречённая есть ложь»): «Умелая строчка особенно скверно врёт» («Жук и Жаба»); «прозрачна лишь неизречённая речь» («На жёлтой, уже приполярной Оби...»). Но изначально взятый тютчевской нотой, мотив молчания Бухараевым постоянно варьируется, углубляется, высвечиваясь разными гранями: «как душа промолчала так она и права» («Постскриптум»); «ясней очертания Бога // на листе, что остался пустым» («Всё грешней, всё живей, всё тревожней...»); «молчанье – спасенье» («Затишье»); «Лишь молчанье – превыше всего – // чувство с чувством случайно сличит...» («Тилфорд»); «пусть молчаньем дальше делятся строфы: // след Иисуса явлен на песке // и в жизнь уходит от венца Голгофы» («Моление о чаше»). Молчание, немота, тишина – непрменные условия рождения поэзии-истины, о чём не устаёт раз за разом повторять поэт: «Потом немота наступает, которая речь» («Жук и Жаба»); «Молчание – речи предтеча» («Метеопролог»); «тишь в душе – предвестье слова» («Зов»); «Вдохни тишины – вдруг да выдохнешь слово» («Уэй»).

Такое молчание сродни «громкому», «на весь мир» произнесённому слову. Поэтому вполне органично, при всей своей парадоксальности, прозвучала строка «Молчанием крича» в стихотворении «Великая сушь». Поэтическое слово Бухараева звучит одически высокой нотой, возносясь до неба. Высота слога – характерная черта стихотворений поэта: без намёка на ложноподобность, высокопарность, напыщенность. Она сближает их с «высокими» одами эпохи классицизма – времён Ломоносова и Державина. Понимая это, Бухараев, создавая свои творения, то и дело обращается к арсеналу поэтических средств Оды – с её установкой на звучание, на то, чтобы быть услышанной.

Это заметно, в частности, в фонетическом строе его произведений. Художник часто прибегает к инструментовке стиха, но не ради внешней красоты, мелодичности. Благодаря ассонансно-аллитерационным звуко сочетаниям изображаемое становится более зримым, а поэтическая мысль выражается полно и художественно убедительно: «Люза ползла в поволжской тишине...»; «листву листая»; «Больше в голову брать не хочу я, // Как, спасенья не чая и подвоха не чую, // Я выпростался из этого языка»; «Мне детство вспоминается всё реже; // всё режет по живому...»; «долог долг, а жизнь жива и лжива».

Высоко-одическое звучание стихов поддержано у Бухараева и посредством рифм. Часто поэт прибегает к такому способу «рифмования», когда строка заканчивается словом служебной части речи, например, предлогом:

За смутным простором – за тем, за
которым закат и туман,
во тьме начинается Темза,
а дальше – опять океан.
(«Мост Ватерлоо»)

О ящерка меди, свети на
самшит в исступлении дня!
Судьбы и любви паутина
уже не отпустит меня.
(«Цветы граната»)

Голубая смоковница за
озарённым забором.
Я горе воздеваю глаза
озабоченным взором:
солнце!
(«Разлука»)

Этот приём помогает поддерживать напряжённость речи, высказанной как бы «на задыхании», в момент наивысшего эмоционального подъёма.

Лексический состав стихов Бухараева тоже обладает одической силой, направлен на реализацию ораторской установки лирики поэта – она вся есть как бы обращение – «во весь голос» – к людям, способным услышать, сопережить, разделить боль утраты. Примером ярких лексических средств у Бухараева могут служить бесчисленные эпитеты, метафоры и особенно парадоксы, многие из которых даны на грани жизни и смерти: «Пока способна умирать – // Жива душа» («Мне умирать сто раз на дню...»); «Любовь жива – когда она убита» («Мотылёк и гиацинт»); «так неистово хочется жить, // что готов умереть я» («Разлука»).

Неугасимая память о сыне приводит к его обожествлению, вознесению до горних высот – то есть к так называемой в науке об оде *гиперболизации образа*: «Ты шагаешь – пеком по воде. // Ты идёшь, где другому нельзя, // прямо к солнцу ложится стезя, // И по этой стезе золотой // ты в кроссовках идёшь, как святой» («О тебе не подумаю – был...»); «Когда мы с тобой разлучились // и вечность тебя повела, // вослед за тобою влачились // по хляби два белых крыла» («Когда мы с тобой разлучились...»); «он машет мне рукою с облака, // небесный сын мой» («Рука моя тянулась к посоху...»).

Неутихающее страдание явлено в «сквозных» повторах, возвращающих, словно в причитаниях, к одному и тому же – самому наиболее болезненному. Это и повторы слов, синтаксические параллелизмы, анафоры, рефрены. Нет нужды

приводить здесь примеры – их можно встретить во многих стихах поэта. Ту же функцию выражения щемящей боли выполняют композиционные кольца или же венки сонетов, всё туже и туже стягивающие душу поэта. Название его книги «Отпусти мою душу на волю», также как и одноимённого стихотворения, будто бы выдохнуто на самом краю человеческого страдания.

Завершая разговор о стихах Рафиля Бухараева, хочу отметить, что, несмотря на кровоточащую боль утраты, ничуть не ослабевающую со временем, поэзия автора, как и подобает истинно высокому художественному явлению, не замыкает человека, а с каждым новым творением пролагает пути в новые миры. В этом и есть её высокое назначение.

ГАЗИЗОВА
Лилия Ривқатовна

* * *

*Моей бабушке –
Газизовой Бибиэсмэ Гафиатулла кызы*

Мимо дома своего
И мечети слишком белой,
Мимо горя одного,
Что свершиться не успело,

Забрести в чужую ночь,
С кем-то встретиться украдкой.
Ошибившись, снова прочь
Мимо чьей-то смятой грядки

Слишком розовых цветов.
И всё дальше, дальше – мимо
Всех столетий и домов
Быть, где быть необходимо.

* * *

Бабушка шепнула мне,
Что я княжна
И род у нас княжеский.
Но я была комсомолкой
И засмеялась только.
Теперь нет бабушки и нет комсомола.
А я стала княжной.

Княжна

Во мне жестокая тоска
Князей, сжигавших кров
Неверных подданных. Во мне –
Их болгарская кровь.

Моих браслетов тусклый свет
Зовёт в глухую ночь,
Где буду гордою княжной –
Я, болгарская дочь.

Я знаю, правнучка князей,
Трагедию времён.
Старинный мой беспутный род
Бесславьем заклеимён.

Но верноподданная степь
Напомнит о былом
В полнеба стаей воронья
И диким жеребцом.

Бреду сквозь сон иных времён
Я по своей земле.
Раскосые глаза-костры
Мерещатся во мгле.

* * *

А вместо коня мне машина дана,
Бескрайнюю степь заменила дорога.
Качу по асфальту – лихая княжна –
Быстрее и быстрее от родного порога.

И предки с усмешкой глядят на меня,
Безумную дочь двадцать первого века.
Мне в жизни моей не хватает огня,
Мне так не хватает привольного бега.

Лети же стрелой, мой неистовый друг,
Умчи, наконец, из постылого плена
Пустой суеты и мельканья вокруг –
Под дикие звёзды просторной вселенной!

* * *

Меня нельзя не полюбить.
Так хороша.
Полна преданий и легенд
Моя душа.

Но болгарский огонь измен
В моей крови.
И обречённость умереть
В своей любви.

Меня нельзя не разлюбить.
Так хороша.
Полна торжественной тоски
Моя душа.

* * *

Мои бриллианты по небу рассыпал
Неловкий отец.
О жалость, невинные, осиротели
Мои сто колец.

Когда-то давно эти кольца носила
Счастливая мать.
Потом завещала их мне, нелюбимой,
Вовек не снимать.

О кольца мои, потускневшие с горя,
И слёзы отца.
Проклятое слово в ту ночь не сдержала,
Швырнула в сердцах.

Нет больше покоя на этой Земле мне
Ни ночью, ни днём.
Мои бриллианты на небе сверкают
Холодным огнём.

* * *

Моя мама проверяла
Столовые и рестораны.
Папа писал статьи и лекции
По истории КПСС.
У них были разногласия.

Я пряталась в своей комнате,
Ела лимоны и сервелат,
Перечитывала «Анну Каренину»,
Не любила старичка с железом и
Тосковала по любви.

...Мне тридцать лет.
Люблю мужа.
Воспитываю детей.
Ем лимоны
И пишу стихи.

Мама проверяет столовые,
Папа пишет статьи и лекции
По политологии.
У них со мной разногласия.

* * *

Как мало мне сегодня надо:
Глоток прокисшего вина,
Пейзаж нелепый из окна.
И даже бедности я рада.

Но не хочу начать сначала,
И не хочу другою быть,
И поменять свой жалкий быт
На бытие. Я не устала

Угадывать вещей природу,
Их неподъёмный смысл и муть,
И перекачивать, как ртуть,
Их шарики себе в угоду.

Издавека следить за небом,
Потом резинкой день стирать.

Открыть вечернюю тетрадь
И позабыть сходить за хлебом.

* * *

Я люблю возвращаться домой
Каждый миг, каждый сон, каждый вечер.
В доме ждут меня крепкие плечи
И родной беспокойный покой.

Я люблю возвращаться домой,
Отвергаемой варварским светом,
Экзотическим нежным букетом,
Ожидающим встречи с водой.

Я люблю возвращаться домой,
Где хранят меня тонкие стены,
Как в объятьях желанного плена.
Я люблю возвращаться домой.

* * *

На рассвете, на рассвете
Воздух синий, мысли голы.
В целом свете, в целом свете
Нету разума без боли.

Полдень чувства омрачает
Ярким и жестоким светом.
И мечты, как сонмы чаек,
Тают в воздухе нагретом.

На закате, на закате
Вспоминается былое –
Пораженья и утраты –
Всё последний луч укроет.

Полночь примиряет с миром.
Мир, горячий и усталый,
Он таинственным факиром
Усыпляет... Рассветает.

* * *

Когда вся напрягаюсь,
Чтобы доченьку
Взять на руки
Или сына,
Даже не думаю о напряжении –
О наслаждении
Плоти своей,
Соприкасающейся с дочерней
Или сыновней.

* * *

Эмилю

Сын! И мой! Зеленоглазый
И смешной.
В каждую минуту разный
И родной.

Вымысел мой, ставший явью
Озорной!
Я тебя в стихах восславлю
И слезой.

И людского осужденья
Не боясь,
Возвещаю: в мир осенний
Входит князь!

* * *

Мальчишка несносный,
Любимый Эмиль!
Он жизнь в одночасье
Мою изменил.

Я кашу с любовью
Сыночку варю.
С любовью купаю,
С любовью кормлю.

Без грусти взираю
На сломанный стул,
На перстень, который
Сыночек согнул.

Во всём потокаю,
Во всём уступлю.
Жить просто и верно:
Я сына люблю.

* * *

Сююмбике

Прокравшись в тайное жильё,
Где мой бессонный страх
Хранит младенчество твоё,
Косматый бродит мрак.

Он прячется по всем углам
И смотрит, словно зверь.
Тебя пугает по ночам,
Раскачивая дверь.

Я ласково шепчу, что он
Не зверь, а лишь зверёк.
Он для тебя волшебный сон
На утро приберёт...

И ты сжимаешь тишину
В бессильных кулачках.
А я – двадцатую весну
Вдруг разгляжу в зрачках.

* * *

Люблю деревья – не цветы
За высоту и необъятность,
Геометрическую ясность,
Их очертания просты.

Люблю деревья – не цветы,
Коры надёжную шершавость,

Парящей кроны величавость
И говорящие листья.

Люблю деревья – не цветы.
За их корней немую силу,
Что небеса преобразила...
Люблю деревья – не цветы...

* * *

«Манкость есть в ваших стихах», –
Сказал поэт Владимир Корнилов,
«Больше Хлебникова читайте», – добавил.
И я всё лето читала Хлебникова.
Через год не стало Владимира Корнилова.
...И новые стихи я показать не успела.

* * *

Дожди идут, как пленные солдаты –
Не в ногу, спотыкаясь и вразброд.
А я пока не чувствую утраты,
Неверие мне силы придаёт.

Дожди идут, взбивая пену в лужах,
Своею нескончаемой тоской.
И мне должно от этого быть хуже,
Но жизнь течёт сонливою рекой.

Пока дождит, я словно под наркозом.
Не жжёт остекленелая беда.
Но выглянет искусственное солнце,
Сумею ли я справиться тогда?

* * *

Можно потрогать руками
Одиночество.
Оно мягкое, как вата,
Липкое, как руки после чак-чака,
Любимого татарского лакомства.
Иногда оно твёрдое,

Как стена
Нового дома
На улице Лесгафта,
Где нам, кто знает,
Суждено вместе жить.

Одиночество принимает форму
Чашки,
Из которой пью кофе.
Ты её подарил мне
На женский день.
Пропитываюсь одиночеством,
Как губка.

Одинокая губка.

Размирья и лады Лилии Газизовой

Лирика Лилии Газизовой давно обрела лица необщее выражение, со своими штрихами и особенностями, придающими ей на весьма широком поле отечественной поэзии индивидуальность и своеобразие. Ключевой чертой поэтики Газизовой является её парадоксальность, бросающаяся в глаза при первом же знакомстве со стихами поэта.

Даже одной из своих книг Газизова даёт оксюморонное по своему характеру название – «В ладу с размирьем», вполне осознавая, как и подобает зрелому художнику, внутреннюю противоречивость своих произведений. Пользуясь новообразованием поэтессы, я вслед за ней буду обозначать её «парадоксы» *размирьями*. А обнаружить их нетрудно на разных уровнях стиха.

С полным правом можно вести речь о размирье языка Газизовой. Стихи поэта изобилуют антитезами и оксюморонами: «беспокойный покой»; «Полдень чувства омрачает // Ярким и жестоким светом»; «Для радости и ропота // Достаточно и шёпота» и др. Порой они составляют целые строфы, выстраиваясь в амбивалентные и противоречивые по сути высказывания: «Не надо полных залов, // Безликой тишины. // Побед или провалов, // Негаданной вины». Сплошные несочетаемости, с точки зрения обыденного, а стало быть – «нормального», языкового сознания, но в них-то вся поэзия:

Беспросветный из разряда
Серых с грустью вечеров.
За окном отрывок сада
Из нерадостных стихов.

Следует говорить и о размирье формы стихов поэта. Газизова для выражения поэтической мысли, чувства умело пользуется различными версификационными приёмами и средствами. Любопытный пример «рифменной» организации стиха даёт стихотворение «Тоскую о зиме». Состоит оно из трёх четверостиший, первое из которых крепко держится на сваях точных рифм: *зиме – ресницах – колесницах – тьме*. Далее одна пара рифм сменяется ассонансной, держащейся лишь на одном гласном звуке: *зиме-песнопенье-смятенье-душе*. В последней же строфе ассонансная рифма полностью вытесняет точную: *зиме-небе-слепо-полусне*. Так реализуется, в соответствии с содержанием стихотворения, его основная мысль: разлад яви-неяви, мечты и действительности, в финале достигающий предела, упирающийся человека в стену, несмотря на его тоску о безгранично-безумных пространствах зимы.

Размирье формы стихов Газизовой разыграно и на уровне ритмическом. Рваный, напористый ритм характерен для многих из них:

Я и она – красивы и страшны
В ранимой гордости. Глаза – костры.

Нам снятся одинаковые сны.
Мы – две сестры.

Это – из ранней лирики Газизовой. Не удивительно, что эти и подобные им стихи так нравились Анастасии Ивановне Цветаевой. Своим ритмом, ненормированными тире, «сквозными» повторами ключевых слов, сопряжением «несопрягаемых» понятий они напоминали стихи её сестры Марины Цветаевой. Кажется, проще всего было бы приписать Газизовой слепое следование традициям великого предшественника. Конечно, без цветаевского влияния не обошлось, но, думаю, парадоксальность свойственна ей изначально. Прочитанные строки взяты мной из стихотворения «Детское». Стало быть, в детстве нужно искать исток противоречивости поэтессы. Потому она и столь органична в её стихах, что подтверждается характером мировосприятия, мироощущения автора.

Земное, бытовое, обыденное в стихах Газизовой оказывается в центре поэтического. В сопряжении высокой мысли и житейской данности держится пафос многих стихотворений поэта. Несоответствие обыденности мироощущению художника, его творческой натуре выливается в стремление, в порыв за грань – и не важно, что за ней: мечта или прошлое, что порой одно и то же. Именно в этом ключе в стихах Газизовой следует рассматривать «сквозные» мотивы детства, «княжны», минувшего.

Желанием выйти за пределы замыкающей реальности объясняются и стихи, воплощающие размирье мечты и действительности («Какое приятное занятие...», «Писать о любви безоглядной...», «Телефонный звонок. Телефонное счастье...»). Поэтические итоги его не всегда оптимистичные: «Как я хотела и мечтала – // Так не бывает». Это толкает поэта к выходу за границы реального времени. Художественное же время стихов Лилии Газизовой течёт в межвременье настоящего и прошлого, на сопряжении которых очень часто вырастает поэтическая мысль автора («Моя мама проверяла...» и др.). Размирье времени реализуется порой в размирье-неправильности языка, как, например, в стихотворении «Люблю ошибки в словах дочери...».

Наконец, своего апогея размирье достигает на уровне быта и бытия. В стихотворении «Быт», представляющем собой гимн быту, прозе жизни, примиряются самый «низ» и самый «верх» человеческого существования: быт и бытие. У Газизовой быт переплавляется в высокую поэзию и тем самым становится сопричастным бытию. Эти однокоренные, а для поэта – ещё и однокорневые, понятия практически уравниваются в последней строфе стихотворения «Быт» посредством глубокой и – в контексте произведения – тавтологической рифмы:

Восхожу я к тебе, словно к Богу,
Мой любимый и преданный быт.
Я иду за тобой. Ты – дорога.
И решаю, что следует – быть!

Такова гармония бытия в поэзии Газизовой. Она поддержана строгой архитектурой, отличающей её стихи. Для них характерны анафоры («Я люблю своих чудовищ...»), «сквозные» повторы и рефрены («Я люблю возвращаться домой...», «Люблю деревья – не цветы...»), синтаксические параллелизмы и композиционные кольца («На рассвете...»), антитетичная структура («Честолюбие», «Я – татарская княжна...»). Эти и другие приёмы заставляют мысль играть разными смысловыми гранями и оттенками, придавая ей пестроту и глубину.

Сбитость-слаженность стихов Газизовой, конечно же, лучшее свидетельство мастерства поэта. Без учёта их строения, бывает, нельзя проникнуть в глубину смысла произведения, как в случае со стихотворением «Манкость есть в ваших стихах...». Его «зеркальная» композиция как нельзя лучше выражает «вечную» мысль о жизни и смерти и со времён Пушкина волнующую поэтов мысль о творчестве. Здесь и везде в стихах Газизовой их строгая организация помогает автору избывать посредством поэзии алогичность, парадоксальность, противоречия жизни, находить в ней столь желаемую и искомую гармонию, лад.

Стихотворение «Манкость есть в ваших стихах...» относится к числу излюбленных Газизовой верлибров. Как известно, в верлибрах совсем не обязательны ни рифма, ни чётко выраженный ритм, то есть те свойства, которыми, как правило, обладают стихотворные произведения. В силу этого верлибр – весьма «скользкий» жанр, так как не требует от поэта следования строгим законам формы и, в конечном счёте, может свести его к обыкновенной прозе – ведь достаточно её лишь нужным образом графически оформить. Но ведь и не каждое рифмованное, и «ритмизованное» стихотворение есть поэзия. Думаю, что вопрос о верлибре касается коренного вопроса о сущности поэзии, и здесь нужно руководствоваться доводами не рассудка, а сердца – оно должно подсказать, какое произведение отнести к сфере поэтической, а какое всего лишь бледный отзвук действительности, даже если очень пафосно-напыщенно явленный. Верлибры Газизовой позволяют говорить о том, что в них поэту, пусть порой и на самом краю, удаётся парить в высотах человеческого духа.

В стихотворении «Бабушка шепнула мне...», где разыгрывается очень важный в поэтической системе автора мотив «княжны», сопрягаются категории «временного, преходящего» («я была комсомолкой», «Теперь... нет комсомола») и «вечного» («род у нас княжеский»). Причём «преходящее» в ценностной системе координат оказывается никчёмным, а факт отнесённости к княжескому роду занимает в ней ключевое место. Бабушкой вышептанные (в силу известных идеологических рамок) поэтессе слова, о том, что та – княжна, поначалу ею, комсомолкой, высмеиваются. Но время всё расставляет на свои места: умирает бабушка, не стало комсомола. Всего лишь в одном стихе – «Теперь нет бабушки и нет комсомола» – мгновенной вспышкой озаряется эпоха крушения целой идеологической системы и личная трагедия человека, во времена всевозможных утрат всего и вся ещё потерявшего и самую близкую, родную душу. От этого сопряжения и эпохальные события окрашива-

ются кровью сердца, и частному событию придаётся эпохальное значение. Отсюда – казалось бы, незначительный по своему содержанию стих, касающийся вроде бы лишь сферы частных интересов – «А я стала княжной» – обретает высоко-поэтическое по своей трагичности звучание.

Не благодарное занятие что-либо переводить с языка поэтического на прозаический, но для того чтобы быть понятным и неголословным, приведу своё понимание финала стихотворения, а значит и его в целом. На самом деле, до последнего стиха всё достаточно буднично, житейски: некогда бабушка шепнула, что внучка – княжна, так как вышла она из рода княжеского. Но что ей до этого, ведь она – комсомолка. Шло время. Бабушка умерла, не стало комсомола. Вся эта история и рассказана-то во вполне прозаической форме, выдержана в обыденно-разговорной интонации. Но в предпоследнем стихе о «нет бабушки и нет комсомола» происходит тот самый «щелчок», который придаёт всему происходящему трагедийное звучание. Как – об этом я уже сказал чуть выше. Сейчас важно другое: поэт, вместе со всеми утратами, созрел до своего высокого звания. Потеря родного человека, страны, в которой родился и вырос, дала поэту осознание своего места в мире, открыла глаза на логику и смысл вечно движущегося времени. Стих «А я стала княжной» нужно, конечно же, понимать не в том смысле, что человеку удалось вернуть себе дворянский титул, определённый социальный статус. «Я стала княжной» – значит, я достигла таких высот человеческого духа, что мне открылась некая тайна о моей жизни и жизни вообще. В таком понимании слово *княжна* обретает фразеологическое значение *аристократа духа*. Стало быть, и мотив «княжны» у Газизовой связан с раскрытием остро волнующих поэта проблем души, времени, смысла человеческой жизни.

Верлибр «Бабушка шепнула мне...» – одно из тех произведений, которые наглядно демонстрируют, как самые что ни на есть будничные темы, становящиеся в большинстве случаев предметом бытовых разговоров – пусть и очень задушевных, в кругу самых близких людей, переплавляются в стихи необыкновенно высокого поэтического звучания. И в этом смысле данный верлибр есть лишнее доказательство состоятельности жанра.

Говоря о верлибрах Газизовой, нужно подчеркнуть, что все её произведения, написанные в русле этого жанра, имеют одну очень важную черту, их объединяющую: в основе их лежат события из жизни самого поэта. На фоне жизни они на первый взгляд могут казаться незначительными, но у Газизовой обретают судьбинное значение, потому и вплетаются ею в общий поэтический узор.

Моя мама проверяла
Столовые и рестораны.
Папа писал статьи и лекции
По истории КПСС.
У них были разногласия.

Я пряталась в своей комнате,
Ела лимоны и сервелат,
Перечитывала «Анну Каренину»,
Не любила старичка с железом и
Тосковала по любви...

Если бы стихотворение этим закончилось, Газизовой не удалось бы разрешить коллизию, положенную в её основу. Хотя внимательному и думающему читателю уже могло бы показаться странным и то, почему в предпоследнем из процитированных стихов в конце оказался союз *и*, в то время как он по правилам структуры и смысла фразы должен начинать последний стих: «И тосковала по любви». Кому-то покажется это незначительным, но в пространстве стиха, где, как известно, «словам тесно, а мыслям просторно», нет ничего незначительного – даже точки, даже запятой. Чтобы уж закончить с этим *и*, приведу для любознательных свою интерпретацию. Во всех стихах, кроме последнего, речь идёт уж очень о незначительных вещах. Всё – и работа мамы, и занятия отца, и увлечения дочери – проза жизни, порой засасывающая своей однообразностью в житейское болото. Если бы *и* оказался в начале первого стиха, то он бы носил присущее ему в подобном контексте присоединительное значение. Тогда и тоска по любви оказалась бы приметой всё того же болота. Но как же так можно с тоской и любовью!

Приведённая мной интерпретация ничуть не «отдаёт» «интертрепацией», поскольку поддерживается дальнейшим течением верлибра:

...Мне тридцать лет.
Люблю мужа.
Воспитываю детей.
Ем лимоны
И пишу стихи.

Мотив «любви» из предыдущего стиха, как видим, имеет свою реализацию в последующих пяти, в которых сконцентрированы самые дорогие ценности поэтессы: семья и творчество. В их контексте даже лимон – предмет «презренной прозы» – неожиданно получает «высокий» смысл, поскольку как-то связан с написанием стихов (посвящённые-то знают, как!). Таким образом, стих «Тосковала по любви» тематически связан более тесной связью не с предыдущими, а с последующими, хотя, конечно же, по сюжету жизни относится не к ним, потому и отделён от них многоточием.

Казалось бы, с любовью всё ясно, и стихотворение в этом смысле могло бы и завершиться. Но чуда поэзии в таком случае никак не свершилось бы. Стихотворение получает неожиданное продолжение:

Мама проверяет столовые,
Папа пишет статьи и лекции

По политологии.
У них со мной разногласия.

Кажется, мы имеем дело с традиционным, многожды использованным поэтами с самыми различными целями композиционным кольцом. Но, замечу, при всём «кольце» в последних стихах происходят определённые, возможно, незначительные, хотя житейски – и очень значительные, изменения: мама уже не проверяет рестораны (наверное, тому есть свои резоны); папа пишет не об истории КПСС, а о политологии (тоже немаловажный факт для специалиста!*). Одно осталось неизменным: остались разногласия между самыми близкими – вечная проблема «отцов и детей». Осталась та тоска, что была в самом начале: тогда – по любви женской, теперь – по любви человеческой, равной пониманию. Тоска оказалась неизбывной. С этой точки зрения, стихотворение Газизовой, помимо того что по-своему продолжает линию размышлений о «вечной» теме «отцов и детей», вырастает в философские раздумья об общечеловеческих идеалах. Так или иначе, человек достигает своих целей, обретает свои ценности, но конечной «остановки» в этом процессе нет. Любое обретение вызывает тоску по другим ценностям, ещё не обрётённым. Путь человека к своему «раю», таким образом, оказывается бесконечным и, видимо, безуспешным.

Завершить свои размышления о верлибрах Газизовой хочу ещё одним прекрасным стихотворением поэта:

Я думаю о том, какие мысли
В голове у очень толстого ребёнка.
И часто ли ему бывает грустно...

Я думаю, что толстого ребёнка
Намного чаще обижают,
Чем худого.

Ещё я думаю о том,
Что в каждом из нас
Плачет толстый ребёнок.

Не хочу в данном случае расщеплять своим сейчас не уместным анализом живое и трепетное тело стиха. Замечу лишь, что и здесь мысли, которые многим из нас и в голову-то не придут, не то чтобы придать им какое-либо маломальское значение, становятся предметом высокой поэзии. Как и любое искусство, оно есть сострадание, которое на языке искусствоведов получает название катарсиса. А сострадание – это страдание, гармонизирующее нашу душу, примиряющее с миром, сглаживающее противоречия. А их, этих «раз-

* Один мой знакомый долгое время работал над докторской диссертацией, связанной с историей КПСС. Работа практически уже была готова, но – рухнула соцсистема, и диссертация потеряла свою актуальность. Но не это главное: человек сломался!

мирий», в стихах Газизовой более чем достаточно, что обнажает ранимость души поэта, её готовность откликнуться на боли человека и времени. Её верлибры, несмотря на всю их рифмо-ритмическую неурегулированность, в некотором смысле «хаотичность», – свидетельство усиленных поисков «лада», гармонии жизни, «мира» в окружающем поэта «размирье». И в соответствии с ладом своей души Газизова неумолимо расставляет лады-идеалы жизни и творчества.

КАПРАНОВ

Геннадий Николаевич

Ван Гог

Я завтра утром встану до семи
и нарисую круг моей семьи,
потом соседей – сколько захотят,
потом – их кошку и её котят,
а после на чердак я поднимусь
и городом проснувшимся займусь,
и улицу затопленную – с крыш
я напишу, как Писсаро – Париж.

Потом пойду я к девушке одной
и попрошу тихонько: будь родной.
И, лёгкая, как птица, на подъём,
она мне скажет: «ладно» – и пойдём.
И я ей из ромашек из-под ног
сплету замысловатейший венок.

А дома – для уюта уголка –
я разожгу огонь из уголька.
И, чтобы никого не привлекать,
я стану в кровь перо моё макать
и запросто, как будто это тушь,
я сделаю прекраснейшую чушь!
Но – это будет – чушь из дорогих...
И сяду ждать заказов от других.

В лесу

В сети сосен попался внизу
свет небесный, спустившись с отвеса.
Одиноко я душу несусь,
соблюдаю религию леса.

Как прекрасен он, свет навесной!
Я не вынесу, нет, это слишком!..

Пять минут постою под сосной –
И шагаю по шишкинским шишкам.

Вот уж бор позади, я сниму
башмаки мои – чище и проще!
Забредаю в молочную тьму
непорочной берёзовой рощи.

И прекрасней сосновых полос
эти свежие, точно кувшинки,
обнажённые девы берёз
на махровой поляне Куинджи!

Жизнь

Время, хоть медленно, делает дело –
выросли тополи, выросли клёны,
на небо детство моё улетело
божьей коровкой с лужайки зелёной.

Снова прощаюсь – дорога всё та же,
жизни не сделаешь птицей ручнойю!
Юность моя улетела туда же
чайкой крикливой, чайкой речною.

Грустно, но время настанет такое:
в синее небо – дорога всё та же –
кто-то помашет прощальной рукою
жизни моей, улетевшей туда же.

Весна ранняя

Закачается солнце на ветке,
у вороны раскроется рот,
повылазят старухи-соседки
почесать языки у ворот.
Сядут в солнышко – кости да жилы –
и начнут на наречье своём:
«До весны, слава Богу, дожили,
стало-ть, лето ишшо проживём».

Посидят, покряхтят, пожуют,
и такую тощицу нагонят,

точно люди совсем не живут,
а кряхтят и друг друга хоронят.

А девчоночка-внучка, куклѣшка,
отправляя букашку в полѣт,
тянет, ладушка, в небо ладошку
и такую рифмушку поѣт:
«Бабка-коровка,
улети на небко,
тама твои детки
кушают конфетки».

Ягоды

Земляничка аленька,
точно рот молодой,
ну скатись, моя маленька,
ну скатись на ладонь!

Точно глазки девчоночки,
всѣ внутри молодят,
вишни-парочки чѣрненьки
из-под листьѣв глядят.

Ой, вы, ягоды родины,
с соком солнца и гроз!
Кисть прозрачной смородины
и черѣмухи гроздь!

Вы и дальше манили бы,
я не знал бы тоски,
если бы не малинины,
как живые соски!

Вишни пальцами трогаю,
обрываю, притом,
а малинину пробую
обезумевшим ртом!

Гроза

Уж ветер хватает деревья и мнёт,
разверзлась природы утроба!
И молния, стерва, нет-нет да сверкнёт
внезапно и быстро, как злоба.

И небо как будто бы кто-то потряс,
и дождь замелькал, как солома,
и тучи столкнулись и сыплют на нас
огромные ящики грома.

И жители окна свои стерегут,
и толпы у всякого входа,
и катятся шляпы, и люди бегут,
но это не страшно – природа.

* * *

Вспышка ты! Я не то что от вспышек, –
я как спирт – только спичку – и вспых!
И пошли твои десять пальчишек
мне за плечи, как десять слепых.

И, бессвязный окончивши лепет,
ртом припав, за струёю струю
поцелуй, как будто бы не пил,
я из крошечных губ пью и пью.

Я под кофточкой ласково лажу,
осторожно, потом всё грубей
всё ловлю их, и глажу, и глажу
шевелиющихся там голубей.

Давняя любовь

Чья-нибудь подруга пожилая,
злющая на злющую свекровь,
Где она теперь, моя былая,
давняя-предавняя любовь?

Вот и наша юность песню спела,
а казалось, не было конца.

Где оно, смеющееся спело,
розовое яблоко лица?

Яблоко смеющееся это
я в глазах и в памяти хранил
двадцать две весны, зимы и лета.
Двадцать две. И выбился из сил.

А ведь это яблоко, бывало,
вроде молнии или огня,
предо мной из воздуха вставало
среди ночи и средь бела дня.

Среди бела дня – я повторяюсь –
явно ни с того и ни с сего,
а сегодня, сколько ни стараюсь,
всё равно не вижу ничего.

А увижу – снова сердце ёкнет,
но теперь уже куда больней:
скоро в жизни вся она поблѣкнет,
как поблекла в памяти моей.

Загородное

Сорву в траве травиночку,
притронусь к ней губой
и тропкою-тропиночкой
пойду я за тобой.

С тобой у нас – два голоса.
И если оба «за»,
Я зацелую волосы,
И губы, и глаза,

и ноженьки, и рученьки,
и груди, и плеча,
и сладкой мукой-мученькой
напьюсь, как из ключа.

А нет – сойду с тропиночки
и рот перекошу,

и горькую травиночку,
шутя, перекушу.

* * *

Как кисло,
между нами – сантиметры.
Как пресно,
между нами – сантиметр.
Как страшно!
Между нами – миллиметры.
Как сладко!
Между нами – миллиметр.
Как горько!
И на что это походит!
Меня уже к тебе не повернуть.
Любовь – она действительно приходит.
Потом она, действительно, проходит,
проходит
через несколько минут.
Теперь ты можешь быть какой угодно!
Ты далеко –
ты где-то за спиной.
А я уже холодный и свободный,
и делать тебе нечего со мной.
Нет!
У любви
есть несколько примет.
И если это чувство –
кроме шуток –
оно ещё сильнее в любой момент
и даже –
в этот жуткий промежуток!

Кино

Влюблялся под сеткою я волейбольной,
за партой, на речке, на улице, но –
какой, по сравнению с этим, любовью
влюбился я мальчиком в зале кино!

Пленили меня не лицо, не походка –
я в этом тогда ещё был не знаток –

а яркое имя её – и чахотка,
и кровью запачканный белый платок.

Смотрела она примирённо и кротко.
Как тело легко! Как болезнь тяжела!
Уж пусть бы меня доконала чахотка,
лишь только б моя героиня жила!

И если бы мог я с моею любовью,
сказав, как волшебник:
«Не плачь. Не горюй!» –
одним поцелуем вернуть ей здоровье, –
я жизнь бы отдал за такой поцелуй!

* * *

Мы валялись в свежей траве,
пахнущей кислотою щавелевой,
только волосы на голове
изредка ветерок пошевеливал.
Шевелился густой завиток
(белых не было ни волоска ещё),
пошевеливал их ветерок,
точно руки природы ласкающей.

Нас, искавших одной красоты,
нас, истории новой не делавших,
нас, смеющихся, рвущих цветы,
ежедневно влюблявшихся в девушек,
целовавших единственный раз
и потом вспоминавших раз сто её,
не тревожило, что мимо нас,
может быть, проходила история.

Нам, родившимся только любить,
только с самым красивым знакомиться,
Из всего, что прошло, может быть,
только то лишь одно и запомнится,
как впервые дрожала рука
в пору мягких мальчишеских усиков,
как попала, робка и хрупка,
под резиночку шёлковых трусиков.

* * *

О школьные годы! Звонки! Перемены!
Девчонки и их гонорок напускной!
О, школьные доски, и парты, и стены!
О, сладостный, с горечью, бал выпускной!

Пуškai на мальчишке простое пальтишко,
пускай он не модно обут и одет, –
кто любит прекрасней, чем любит мальчишка
девчонку
в шестнадцать мальчишеских лет!

Как это прекрасно –
чтоб въелась в печёнку! –
влюбиться в девчонку, мечтать день и ночь,
смотреть, и смотреть, и смотреть на девчонку,
смотреть – и никак насмотреться не мочь!

Пуškai достаётся лишь малая долька –
люби! – без любви ты – ни то и ни сё.
Пуškai она даже не любит нисколько –
подумаешь, важность! – люби, да и всё!

Пусть смотрят на вас эти взрослые косо!
Да ну их, мальчишки, по совести, всех!
Любите, мальчишки, девчоночьи косы,
девчоночье имя, девчоночий смех!

Молоденький морозец

Через пустырь торопится народец,
ночь навязала кружев из берёз,
и утренний молоденький морозец
целует первых встреченных до слёз.

Дыша на воротник заиндевелый
и восхищаясь инеем в пути,
прекрасно утром по дороге белой,
и с белыми ресницами, идти!

Прекрасен уголок природы снежной,
и каждое прекрасно деревцо,

и каждый куст, и снег прекрасен нежный,
и у зимы прекрасное лицо!

Идёт девчонка в шапочке пуховой,
Вся в инее, прекрасная, до слёз!..
Вот здорово бы
рот её пунцовый
поцеловать!
Сейчас!
В такой мороз!

Свет в глазах

Я чист, как родниковая вода,
и незатейлив, как забор из тёса.
Я каждую весну иду туда,
где солнце греет рыжие откосы,
где травы пробивают мерзлоту,
где снег сползает в тёмные низины,
где прославляют птицы высоту,
и по течению уплывают льдины.

Там с лодкой возится хромой старик,
там, за зиму отведавшая скуки,
берёза одинокая стоит
и греет к небу поднятые руки.
А от земли дрожащий дым идёт,
и так тепло от ветерка сухого.
И всё живое
от природы ждёт
чего-то необычного такого.

Светя в глаза сквозь спутанные ветки,
заходит солнце где-то далеко.
И так просторно мне, и так легко,
и так свободен я,
и всё моё на свете!

Когда со света в комнату вхожу
с растрёпанными ветром волосами,
то долго-долго как слепой гляжу,
не вижу, а свечу вокруг глазами.
И щёки тоже как огнём горят,
и на ресницы лезет чуб упрямый,

и мне мои родные говорят:
«Ты пьяный, Гена,
ты сегодня пьяный».

А я не говорю ни нет, ни да,
я отвечаю так на все вопросы:
«Я чист, как родниковая вода,
и незатейлив, как забор из тёса».

И выбрал жизнь...

У Геннадия Капранова есть стихотворение «Жизнь», в котором за пятнадцать лет до смерти поэт словно предсказал свою раннюю кончину:

...время настанет такое:
в синее небо – дорога всё та же –
кто-то помашет прощальной рукою
жизни моей, улетевшей туда же.

Сказано о смерти, но с таким смирением, что никакой тяжести на душе при прочтении этих строк не испытываешь. Наоборот, безоговорочное приятие существующего миропорядка, наполняющее душу лёгкостью спокойствия. Да и о смерти ли эти стихи, не о вечной ли жизни, гимном которой проникнута вся жизнелюбивая лирика поэта? В произведении «Одно стихотворение пища...» принцип жизненности и *живости* возведён автором в разряд творческого метода. В характерной для него разговорно-свойской манере Капранов заявляет: «я втискивал живые потроха // в сосуд традиционного стиха».

Стихи поэта действительно «традиционны». В них трудно отыскать какие-то формально-новаторские изыски, на которые решались многие поэтические ровесники Капранова. Его стихи написаны в полном соответствии с версификационными правилами, завещанными ещё поэзией пушкинской эпохи. Это нужно поэту для того, чтобы быть понятным широкому читателю, воспитанному на классических традициях, стать своим для каждого, в разговоре о «простых вещах» дойти до сердца самого «рядового», неискущённого поэзией человека.

«Предпочитаю обычность», – признаётся поэт в «Интерьере с художником». Это стремление к обычности, к простоте является характерной чертой творчества Капранова. В строках стихотворения «Русь» простота даётся как черта русского национального характера. Поэт словно любит свою простоту, как бы подчёркивая её «сквозными» аллитерациями – *п, р, с, т*:

Я просто парень русский,
а рядом – это Русь!
Прости, что по-простецки я
целую неспроста
твои, всё полудетские,
сладчайшие уста.

Свой, добродушный, открытый всем рубаха-парень – таков лирический герой Капранова. Самый обыкновенный, он всеми узнаваем и признаваем. Не трудно, следуя стихам, было бы нарисовать его портрет: «Ветер, пахнувший // густой ромашкою, // играй распахнутой // моей рубашкою!»; «Сорву в траве

травиночку, // притронусь к ней губой // и тропкою-тропиночкой // пойду я за тобой» и др. Даже мир, в котором живёт капрановский *простой* человек, под стать ему: «Как поздние уборщицы, // лишь звёзды в вышине // по-свойски, заговорщицки // подмигивают мне». Проще о столь высокой поэтической материи, каковой являются звёзды, не скажешь.

Обращаясь к образу простого, не выделяющегося среди других человека, Капранов каждый раз не устаёт утверждать мысль о его ценности как такового: «Человек я. Мне нету цены! // Это даже в законе отмечено. // Вы смеётесь? А мне хоть бы хны! // Кто же знает, почём человечина? // Так что точно – мне нету цены!».

Есть у поэта стихотворение «Лирика». Читатель, в соответствии с названием, по традиции ждёт серьёзных размышлений о поэте и его назначении. Но никакого образа поэта, окружённого ореолом божественного и отмеченного печатью избранничества нет. Есть другое – *живой человек*:

Я пишу:
«Улыбнувшейся Ире
я навстречу, сорвавшись, бегу».
А они:
«Как играет на лире!..»
Ни на чём я играть не могу!
Я из этого самого мира.
Жду автобус.
Иду по шоссе.
Нервы – лирика!
Нет её, лиры!
Нервы есть!
И издёрганы все!

Чтобы быть понятным всем, Капранов использует в своих стихах средства повседневно-бытового языка. Его стихи пестрят разговорно-просторечной лексикой и фразеологией и даны в форме разговорного синтаксиса: «Среди бела дня – я повторяюсь – // явно ни с того и ни с сего, // а сегодня, сколько ни стараюсь, // всё равно не вижу ничего. // А увижу – снова сердце ёкнет...»; «Что бы рассказать вам, я мозгую, // чтоб погнать быстрее вашу кровь...».

А вот как описывается образ возлюбленной: «Профиль чуток и худ, как наган! // Красоту ты впила и впитала! // А глаза – это твой чистоган! // Два сокровища! Два капитала!». О любви Капранов выражается вообще приземлённо, но от этого она ничуть не теряет своей высоты: «Как это прекрасно – чтоб въелась в печёнку! – // влюбиться в девчонку, мечтать день и ночь, // смотреть, и смотреть, и смотреть на девчонку, // смотреть – и никак насмотреться не мочь!».

Даже такое возвышенное поэзией чувство, каковым является грусть, выражено непривычно «безыскусно», но в том-то и вся его прелесть у Капранова:

Грусть – приятная конфетка.
<...>
Грусть, товарищи, для сердца
слабая эмоция.
Чтобы сердце было сердцем,
сладким вкус не балуя,
надо горсть из соли с перцем
высыпать на алое.
Запульсирует!
А мало –
сыпьте горсть за горсткой...

В разговорно-просторечную, сниженную форму Капранов облакает и свои размышления о самых высоких категориях нравственности, например, о личной ответственности человека за происходящее в мире и перед самим собой: «Никто не гибнет на войне, // в достатке хлеба-соли, // всё хорошо. // И тут во мне // чирик-чирик: // а всё ли?». *Чирик-чирик* – не тот ли это колокольчик, о котором писал в своё время А. П. Чехов?

Простота слога, даже некоторая его грубоватость характерны и для раздумий автора о творчестве – предмете, для всякого художника слова со времён Пушкина наиважнейшем. В стихотворении «Для русских романистов...» написано о месте Гоголя в русской литературе. Без прикрас, грубовато, но зато честно поэт говорит о многочисленных подражателях и эпигонах великого писателя: «Для русских романистов Гоголь – // что роженица для щенков – // лежит, // подставив сисек оголь, // и кормит свору сосунков».

В стихотворении «Ван Гог» поэт сближает своё творчество с творчеством знаменитого нидерландского художника:

...дома – для уюта уголка –
я разожгу огонь из уголька.
И, чтобы никого не привлекать,
я стану в кровь перо моё макать
и запросто, как будто это тушь,
я сделаю прекраснейшую чушь!
Но – это будет – чушь из дорогих...

Читая эти стихи, лишний раз убеждаешься в таланте поэта не только «говорить простые вещи», но и говорить о сложных вещах на простом, всем понятном языке.

Простота вещей, о которых пишет Капранов, заключается в том, что они знакомы, узнаваемы, оттого очень родны и близки. Не знаю, кто как, но я не

раз, глядя в чистое ночное небо, ловил себя на мысли о бесконечности космоса. Действительно, ведь нигде нет стены, которой всё заканчивается. А если есть стена, то ведь за любой стеной есть *нечто*... Я думал об этом многожды, но вот выразил эту мысль ещё раньше Капранов, причём так, что мне кажется – это я сам сказал:

Звездою
от звезды
к звезде
лети! –
всё будешь в этом мире.
Мир не кончается нигде,
а открывается всё шире!

Проверить это – безрассудно,
как в океан пуститься вплавь.
Мир – без конца!
Представить трудно?
А стену легче?..
И представь!

Итак, допустим, есть стена,
тверда и античеловечна!..
Но ведь кончается она?
А если нет, то – бесконечна!

Философская мысль о бесконечности мироздания, данная по-своему, простыми словами, в знакомых образах, подкупает, роднит с поэтом и со всем миром, потому общезначима, общечеловечна.

При всей своей простоте, равной глубине миропонимания поэта, стихи Капранова, как и подобает настоящей поэзии, имеют высокий заряд неожиданности. В них то и дело – и всегда вдруг! – оказываешься перед чудом жизни. Они выдержаны в русле поэтики необычности, необычайности, вырастающей из обыденности, прозы жизни. Свежестью и новизной мировосприятия отмечены многие образы художника: «утром рано // Волга, как парное молоко, // чуть голубовата и туманна»; «грудью кормящей матери // вываливалась луна»; «как в ковшике дырки, звёздочки // подмигивали перед сном»; «летающие листья играют, как стайки весёлых детей»; «небо как будто бы кто-то потряс, // и дождь замелькал, как солома, // и тучи столкнулись и сыплют на нас // огромные ящики грома»; «И солнце расщеплено всё на лучину! // И день, разгораясь, смолисто трещит!»; «истаивал март, точно сахар в стакане»; «мну поляны цветастое платье // на любимых коленях земли!» и многие другие.

То, что для стихов Капранова столь характерна поэтика необычайности, факт не удивительный. Его поэзия берёт свои истоки из природы и уходит в

неё своими корнями. А природа сама по себе необычно-необычайна: «всё живое от природы ждёт // чего-то необычного такого». Эти строки объясняют, почему их автор так часто обращается к пейзажной лирике.

Природа под пером Капранова одухотворяется. Немаловажную роль в этом играют олицетворения – излюбленный приём русской поэзии. Но у Капранова природа очеловечивается для того, чтобы стать *своей, свойской* – в соответствии с творческой установкой автора:

Через пустырь торопится народец,
ночь навязала кружев из берёз,
и утренний молоденький морозец
целует первых встреченных до слёз.

Гимном природе, жизни оборачивается чуть ли не каждое произведение поэта: «Солдаты! Матросы! Я жизнелюбив. // Желаю вам вечно стоять наготове // и стать командирами, но не пролив // ни капли одной человеческой крови!» – таков жизнеутверждающий пафос стихов Капранова.

Его картины природы лишены статичности. Чуть не физически ощущаешь движение жизни. Не могу не указать, в связи с этим, на мелодичность стихов Капранова, часто обращающегося к приёму звукописи, тоже облюбованному поэтами. Но ассонансы и аллитерации нужны автору не для того, чтобы сделать их сладкозвучными. Капрановская звукопись как нельзя лучше отражает динамичность жизни и полноту её ощущения:

...как лунатик, – если лунно
выхожу я под луну.

Полонённый полуночью,
как сомнамбула, без сна
всё стою я под луною
и шепчу: луна, луна <...>
весь залитый, весь объятый
половодим души.

Думаю, что жизнелюбием Капранова объясняются и многочисленные звукоподражания в его стихах, как, например, в этих: «За рамой ветер – жу-жу-жу! // И дождик – дынь-дынь-дынь! – по крыше».

Жизнь пульсирует в каждой клеточке стиха Капранова. У него необыкновенно много восклицательных предложений, раскрывающих глубину переживаний поэта, а также выражающих напор жизненной энергии, бьющих через край капрановского стиха. Начинаящего автора за такое обилие экспрессивных конструкций можно было упрекнуть, но у Капранова они очень органичны, как и художественно оправдано то, что мастер для достижения наибольшего эмоционального эффекта парцеллятивно разбивает предложе-

ния на части и даже на отдельные слова, сопровождая каждый восклицательным знаком:

Люди! Братья! Сёстры! Дорогие!
Пусть я жизнь себе укорочу,
пусть на мне всё пробуют другие –
Пользоваться этим не хочу!

Покажу хоть тоекратным криком –
пусть и добрый слышит, и злодей, –
я с раскрытым сердцем!
Я – с раскрытым!
Я – с раскрытым!
Я люблю людей!

Полнотой радости бытия пронизаны стихи Капранова, особенно его любовная лирика: «Идёт девчонка в шапочке пуховой, // Вся в инее, прекрасная, до слёз!.. // Вот здорово бы // рот её пунцовый // поцеловать! // Сейчас! // В такой мороз!». Стихи поэта о любви чисты, целомудренны, даже те, которые затрагивают «запретную» эротическую тему: «Вспышка ты! Я не то что от вспышек, – // я как спирт – только спичку – и вспых! // И пошли твои десять пальчишек // мне за плечи, как десять слепых»; «Я под кофточкой <...> глажу и глажу // шевелящихся там голубей!». Капранов предельно честен и точен в выражении психологии любви («Как кисло, между нами – сантиметры...»). Любовью измеряется нравственная состоятельность человека, себя – прежде всего: «Я, например, свой дар небес // и всю поэзию изгадил // тем, что под кофточку залез // и грудь у девушки погладил».

Ощущение полноты жизни открывает поэту глаза на многие её истины, важнейшая из которых – сострадание к человеку: «Дайте с вами поделюсь я этой малостью: // настоящая любовь приходит с жалостью!». Доброта воспринимается Капрановым как основа жизни. У самого поэта она – в крови: «Желаю добра я – уж это в крови!». Добро делает человека сопричастным миру – не только людей, но и всему бытию. Потому стихи Капранова так и естественны, что он вместе с ними является частью природы, да такой частью, что не разъять, как в следующих стихах невозможно установить грани между природой и человеком: «И волнуется вся на мне // очень лёгкая, на-распашку, // на груди, на плечах, на спине // ветра шёлковая рубашка». Чтобы писать такие стихи, надо жить, как Капранов, – с душой нараспашку жизни.

КАРИМОВА АЛЁНА
(*Каримова Алия Каюмовна*)

* * *

Хотя никак понять нельзя
чудную суть преображенья,
всё хочется продлить скольжение,
на пешку разменяв ферзя.
Отдать бессмысленности дань,
и в мире истин непреложных
заикнуться на невозможном,
полив засохшую герань.

Насмешка в воздухе слепом:
ну, тоже горе – слёз не лейте.
Как просто говорить о смерти,
покуда ею не влеком.
Синдром актёрства вечно жив –
не различить, где кровь, где краска.
Спешит неловкая савраска,
себя Пегасом вообразив.

И я, смятение своё
прозрачным словом обозначу,
возьму подкову на удачу,
освобожу твоё жильё.
А ты мне выглянешь в окно,
как будто глянешь с пьедестала.
Никто не прав, а я устала,
а мир с тобою заодно.

* * *

Вечность прячет в кармане не скорую помощь, но фигу...

Т. Алдошин

Я ещё не рождён и, пожалуйста, не зачат.

С. Кудряшов

Вот тебе, бабушка, день несвободы,
от остальных бестолковых дней.
Стиковых могут быть холодней
околоплодные злые воды.
Как неохота рождаться в мир,
существованьем своим нарушив
правила всей необъятной суши.
Так опасается из тюрьмы
выбраться узник, давно сменивший
тяжесть неба на тяжесть крыши.

Так или эдак, удел наш горький
тщиться тащиться на чуждый запах
серую мышью с бедою в лапах
вместо зерна, вместо хлебной корки...

Спрячь меня, Боже, в своих одеждах,
ох, не давай по руке занятыя,
каюсь, не слишком я буду нежной,
после не спрашивай, где там братья.
Шарик вращается еле-еле,
братья по разуму надоели,
хоть одного по безумью брата
мне бы сыскать, хоть одну сестричку...
«Если душа родилась крылатой»,
разве возможно прожить синичкой
в тех рукавицах ежовых быта,
что никому не дают поблажек.
Метод неверен, но он испытан,
и механизм до отврата сложен...

Деревце, как ты цветёшь нелепо,
разве возможно в широтах наших,
где позабыли о вёснах, летах.
Как же тебе не страшно?

* * *

Поплачь, дружок, над скукой бытия,
где сумрак всё, и к лестницам перила
забыли понаделать, «Я твоя» –
какая только тварь не говорила.

И жизнь твоя в зелёньком шелку,
и смерть твоя, в чём родила мамаша,
и ничего, про что сказать бы наше,
найти нельзя на этом берегу.

Нельзя, нельзя. Харону приготовь
не что-нибудь, а новенькую драхму,
чтоб не пришлось дешёвенькую драму,
играть опять, опять проспать любовь.

Научат в школе знать какого рода
оно моё, он мой, она моя,
и скажут, что устроена природа
так, что родней других тебе свинья,
согласно генетическим запаркам.

Пройдёмся, дорогой, по зоопаркам,
на тощих лис посмотрим и волков.
Печально зафиксирует подкорка:
нет ничего, что было б так же горько,
как мыслящее море тростников.

* * *

Всё бы прощать золотых стрекоз
с крыльями чистой, как дождь, слюды,
всё бы шептать тебе сквозь наркоз
координаты большой звезды,
чьё притяжение нас убьёт,
не разобрав, что свои. Свои.
Мрачных больниц нашатырь и йод
так же полезны, как яд змеи.
Невозвращенья гудит струна,
ей искушённый не внемлет слух.
Эта другая моя страна
сгинет, едва прокричит петух.

* * *

Все хлопали музыкантам в красивых таких рубашках
и памятник был Шаляпин за ними, как Командор,
но сценой была брусчатка, где худенькая бродяжка
плясала, изображая безудержности задор.

В бездомных домашних тапках, походкою невозможной
ввергая тупых подростков в почти истеричный смех,
танцуй. На земле не нужно ни истины непреложной,
ни грёз, ни любви, ни веры – боль их заменяет всех.

В немислимом одеянье, в коричневом одеяле,
без капли напрасной злости, беззубый рот приоткрыв,
кружилась легко и плавно, а мы за чертой стояли,
послушной не веря скрипке за сладкий её надрыв.

* * *

Рекламный неон заходил в истерике,
но мы на него не смотрели во(о)бще.
Оставьте, колумб, неоткрытой америку
среди чертовой прорвы подобных вещей.
И нам козырек остановки троллейбуса,
нечаянно спутал гармонию карт –
бессмысленна формула Ньютона-Лейбница,
когда в голове то ли март, то ли арт.
И кажется, мало ли, много ли прожито –
апрель впереди, а зима позади.
Не знаю, чего же мне хочется больше-то –
сказать: «до свиданья», сказать: «погоди»...

* * *

За стужей льды затягивались ту же
уже едва виднелась полынья –
внутри темно, но так бело снаружи,
тонки, неосязаемы края.

А где-то там, на острове Буяне,
крючок забытый жметя меж камней,

и светит невозможное сиянье,
и трогает теперь ещё больней.

О, рыба, рыба! Раненой губою
не ты ли мне доверила слова?
Они теперь живут во мне гурьбою,
а ты уже давным-давно мертва.

* * *

Жалость имеет голос, имеет имя...
жалость – почти любовь и почти обида.
Не выбирай меня, путай меня с другими,
не подавай ни руки, ни пальто, ни вида.

Все мы устали, и воздух густой, как пенье,
тянет последние силы. Дрожит аорта.
Ну, уходи, улетай, убегай мгновенье –
ты не прекрасно, таких у меня до чорта.

* * *

Беспородная сука завывала в потёмках волчицей...
ей-то что за беда, что за стенкой в четвёртом подъезде
всё слабеет дыханье и скоро совсем истончится
в перетопленной комнате, в дикой дали от созвездий.

Он шутил неизменно, высокий, худой и сутулый,
я не знаю, читал он Акунина или Толстого,
но соседям для свадьб и поминок одалживал стулья,
и вообще, улыбался и вел себя проще простого...

А последнюю осень с трудом доходил до базара,
и ни с кем не калякал о ценах картошки и чая,
и о нем, озаботясь, соседка Наташа сказала,
что квартира уйдёт государству, и это печально...

Небу всё здесь мало – переулок, фонарь и аптека –
где ему поместиться, какие наполнить предметы?..
Замолчи. Замолчи, перепуганный друг человека,
человек – это больше, чем тело, страна и планета.

* * *

Думалось: тридцать лет – это край вселенной.
Звали меня Алёной и звали Леной.
И та – эти буквы в паспорте – А-л-и-я –
тоже вроде бы я...
Несомненно, я.
То-то мне кажется, будто вот в этом теле
женщины три, как минимум,
захотели
обосноваться.
И кто из них больше вправе –
выяснить как?
И как, если что, исправить?
Любит одна – одного, другая – другого.
Третья плечом поводит: «А что такого?..»
Вот говорят: судьбу назначает имя,
но выберешь путь один,
а что же будет с другими?..
Направо пойдешь, налево –
нигде не нравится.
И всякие лезут:
«Со мною пойдём, кр-р-расавица».
А я не такая,
другой, господа, культуры.
Сиж у воды вот,
грущу себе...
дура душой.

* * *

Мне до тебя расти и расти –
наверное, в этом фокус.
Когда говоришь «Ну, прости, прости...»,
я требую новый глобус –
мне нужен маленький, золотой
с каёмочкой голубою,
ведь я же лучше вон той,
и той, и всех, кто бывал с тобою.
А ты улыбаешься, как дурак,
родной и неповторимый,
и ты говоришь: «Ну, зачем ты так...
давай успокойся, Каримова...»

* * *

Берега для мостика, речка грезит лодкою,
где слепые дождики – шорох в камышах...
А зимой не плавают, но зима короткая.
У зимы жестокая детская душа.

Карнавалы, праздники, звонкие катания,
рынок за дорогою ёлками оброс.
Будто бы сложение, всё же – вычитание,
с каждым годом новеньким меньше Дед Мороз.

А потом апрельская радость ненарошная,
счастье узнавания, кто это ко мне –
ласковый, заботливый, солнечный, взъерошенный,
всех других особенней, всех других умней.

Летом слушать медленный день, жарой стреноженный,
на веранду вытащив старую кровать.
Или в сад заброшенный тропкой, кем-то хоженной –
за спиной у Боженки яблоч воровать.

Чтоб и нам какой-нибудь мир возделать выдали,
чтоб младенец розовый спал себе в тепле.
Смирно, взявшись за руки, только нас и видели,
мы уйдём счастливые по своей Земле.

* * *

Дай мне, Боже, волшебное лето:
Созерцать голубой виноград,
Проплывая в пыли в сандалетах
Вдоль плетения южных оград.

Море ворох имеет обличий
На сейчас и на случаи все.
Молодой золотой пограничник
По прибрежной идёт полосе.

Как я помню не штормы, не штили,
Не спасательный правильный круг,
Не бессонные мачты флотилий,
Но солёную оторопь вдруг.

Но безлюдье до края планеты,
Горизонта кривую зарю...
Как я знаю, что кончится лето,
И о нём говорю, говорю...

* * *

поле смешней раскладушки
яркого дикого цвета
ах ты моя нескладушка
ах ты упрямое лето

птичьи шальные коленца
брошен коричневый прутик
нежности чёрный лоскутик
выдай мне ключики к сердцу

мелочь остаточек малость
как же поёшь хорошо ты
синим зелёным и жёлтым
красного чтоб не осталось

к чёрту медвежьи малины
шортики юбочки брючки
и не подглядывай злючка
умненьким глазом совиным

Тыя
(из цикла «Байкал»)

В её названье – ты да я,
А значит, уговор-то в силе,
Куда б нас черти не носили
И сколько бы ни было вранья.

Ой, накомарничек надень.
Как комариный звон неистов!
И понимаешь в первый день:
Тайга – не место для нудистов.
Скорей к реке, без лишних слов,
Где красной лодки бок приветит,

Чтоб без весла тебя несло
По лучшей из дорог на свете...

Но невозможно угадать,
В какую сторону фарватер,
А где – завал, и мель, и мать...
У каждой речки свой характер.

И мы, однако, не впервой,
И знаем, что бывает всяко,
Когда весёлый рулевой
На берегу не видит знака,
Куда держать по ветру нос,
Куда ж нам плыть? Вот в чём вопрос.

А впрочем, нужно ли решенье?
Бездомным хорошо везде.
И длится тихое скольжение,
И лодки ходят по воде.

А там, на дне, – цветные камни,
Немного хариуса мельк,
И тайна. Боже, на фига мне
Другие сны других земель?

Но путь проложен к морю. К морю.
И я не спорю. Я не спорю.

Южное лето (из цикла «Восточный вдруг»)

Чужие стройно вплыли в дом
и в тапочках командуют...
Не плачь, маруся, переждём
меж кухней и верандою.
Ведь это – лето, чёрт возьми!
Оно на то и послано,
чтобы всегда – между дверьми,
чтобы казалось после нам,
что жили помидоры в ряд
почти в гостиной с ковриком,
а яблони тишком стоят,
припавши к подоконникам.
Хоть летом-то везде – жильё –

что дом, что сад, что улица...
И всё моё, и всё твоё –
чего ты, дура, хмуришься?
Всё так и будет в этот раз.
Найди мне плошку кошкину –
кто, кроме нас, поесть ей даст?
Она у нас хорошая.

* * *

Ищешь плавки по комодам,
Я разглядываю тюль.
Долгий зной тягучим мёдом
В сотах дней хранит июль.

Крыл стрекозъих трепетанье –
Праздник света и слюды.
Не осознанная тайна –
Целый пруд живой воды.

Исполняйся, отпуск длинный –
Здесь, что вторник, что среда –
Куст крыжовник, куст малина,
Вдоль забора лебеда.

Это дача. Мы на даче
В междувременье парим,
Руки моем, лейки прячем
И о море говорим.

Другое платье Алёны Каримовой

Боль узнаешь всегда, даже если чужое надела.

А. Каримова

Рисунок, ставший основой обложки книги Алёны Каримовой «Другое платье» (Казань, 2006), как нельзя хорошо передаёт сущность её лирики. Для его характеристики я не нахожу более точного определения, кроме слова *текучий*. Цвета и линии перетекают друг в друга, каждый раз рождая новый, необычный узор, словно отражая главную тему стихов поэтессы – тему изменчивости, текучести жизни, безостановочного движения её материи. Глядя на изображённое, невольно вспоминаешь древних философов, занимавшихся поисками некой изначальной субстанции Жизни.

Начиная читать стихи поэтессы, нельзя никогда сказать, куда они выведут. Они, если воспользоваться словами Марины Цветаевой, *не предугаданы ни календарём*, ни какой бы то ни было логикой, о чём сама Каримова пишет, как бы раскрывая секреты своей поэтической кухни: «Возьму блокнот. Сперва от скуки, // А после – вывезет куда // Кривая горестной науки // Словами – рыбку из пруда...» («Байкал»), «пренебрегают логикой стихи» («Водица в решете»). Развитие поэтической мысли определяется лишь одним – движением души автора, настроенной на волну вечного потока бытия:

Всё происходит, слава Богу,
Какую тему ни затронь.
Всё происходит понемногу,
И в искре теплится огонь...
(«Байкал»)

Темой изменчивости («генеральной думой» поэзии Каримовой) определяется лейтмотив её творчества – пути. Своё концентрированное воплощение мотив пути получает в цикле «Зал ожидания», где образ вокзала становится средоточием, перекрёстком всевозможных путей. В пятом стихотворении «Катуни» поездка в вагоне поезда воспроизведена как движение по краю земли, откуда, как с какой-то вершины, поэт лицезреет всё происходящее:

Стыки рельсовые громкие,
За окном – поля, поля.
Кажется, что едешь кромкою,
Где кончается земля.

В проводах столбы, как ёлочки –
Электрическая сеть.
Положи себя на полочку –
Так удобнее смотреть.

Таково место предстояния поэта перед мирозданием, точка его зрения, отсчёта: «Глядим на мир с вагонной верхней полки – // Сибирь, как театраль- ный реквизит» («Байкал»). Мотив пути порой находит прямое воплощение в самих названиях произведений, как, например, в стихотворениях «Тропа» или «Домой». В последнем указывается причина, по которой лирическая ге- роиня то и дело оказывается «на трапе, в тамбуре, в каюте»: ради «тепла род- ного очага», обретения утраченной гармонии – всегда желаемой, но не всегда возможной: «с дымом медленным в трубе // Нас не встречает дом, в котором // В ладу сойдутся А и В» («Байкал»). Поэтому, если уж и говорить о каком- либо покое в стихах Каримовой, то только о временном – такая непоседа её лирическая героиня. Её душа неумолимо требует всё новых открытий, всё больших пространств.

Поэт столь заморожен дорогой, что её образ мифологизируется, транс- формируясь порой в мотив нити, связанный с древнегреческими преданиями: «Ариадны застыла нить, // электронные врут часы...» («Столько времени – ни о чём...»); «опять Фортуна-стерва // вдруг превращает нитку нерва // в Арахны серенькую нить» («Простите, как не приуныть...»), «Жужжит ти- хонько греческая прялка, // и нить ко мне плывёт издалека» («Когда я что- нибудь сказать найду...»). В этих стихах речь уже идёт о пути-времени, со- вмещение которого с пространством рождает образ Вечности и приобщает к ней поэта и созданное им.

Под стать «изменчивости» Каримовой и её столь же «изменчивый», не- однородный стиль, так сказать, «одежка» её стихов. С одной стороны, они пестрят «сниженной» лексикой, всевозможными просторечиями, порой даже вульгаризмами: *обалдевая, шастать, чертыхнётся, неумёха, стерва, наво- стрив, ясен пень, паскуда, окромя* и др. С другой – стихи кристаллизуются в афоризмы самого «высокого» звучания: «...всего сильнее в человеке // То, что он действительно живой» («Ошалев от бесконечных прений...»), «У нас у всех одни пределы – // Мы где-то быть перестаем» («Ни сердцу, Боже, ни уму...»), «Как просто говорить о смерти, // покуда ею не влеком» («Хотя ни- как понять нельзя...»), «Оставь человека совсем одного, // и он уподобится вещи» («Ах, всё там взаправду, и всё там враньё...»), «Бездомным хорошо везде» («Байкал») и др.

Самые отточенные стихи Каримовой – стихи о самом родном, ценном:

Очаг и ложе. Много ль надо?
Но никогда никто нигде
Не получает их в награду,
Растратив жизнь по ерунде.
(«Байкал»)

Родной очаг, дом – высший идеал поэта, его высота – «высь под кры- шею». Хотя не нужно понимать напрямую, что его дом замкнут в простран- стве четырёх стен. Они «раздвинуты» на весь мир. По признанию Каримо-

вой, «летом-то везде – жильё – // что дом, что сад, что улица...» («Восточный вдруг»).

Пространство дома наполнено светом материнства: «сын обнимает мои коленки – // тянет играть – просит строить дом, // кубики высыпав из коробки...» («Жизнь забывается помаленьку...»). Но и любовь не «замыкается» на родном существе, а изливается на любое живое творение. В стихотворении «Не сват, не брат, а просто спутник мой...» поэт признаётся в «нежности к бездомному калеке»:

Вот он – прохожий...
у него внутри
печёнка, сердце, лёгкие...
постой...
Не друг, не враг, и имя –
«звук пустой»,
но он – родной – люби его, замри.

Такова самая высокая мера поэтессы – даже выше вечности, поскольку «любовь над вечностью парит». Вообще, стержнем поэзии Каримовой я бы назвал её гуманизм. От её стихов веет неподдельным теплом человечности, согревающим душу: «Найди мне плошку кошкину – // кто, кроме нас, поест ей даст? // Она у нас хорошая» («Восточный вдруг»), «Вот здесь и сейчас, непосредственно, сразу // заморской едой безо всяких проблем // давайте накормим бомжа и пиита» («В небесные дали ушёл минарет...»).

Возвращаясь к «изменчивости» стиля Каримовой и вообще к теме «изменчивости» в её поэзии, выскажу предположение, что эта черта мотивирована сопряжением в стихах автора быта и бытия, буднично-конкретного и вечного, мечты и реальности, высокого и низкого. Примеров можно привести множество; вот, пожалуй, наиболее «показательный»: «Потягивая чай из блюда <...> так горевать проникновенно // над неустроенной Вселенной...» («Потягивая чай из блюда...»). И все эти «сопряжения» оттого, что, по признанию поэта, «меня на свете научить забыли, // Как от дел великих отличить пустяк» («Март»). Поэтому таков, «сопрягающий», угол его зрения, особенность мировидения, определяющий, в свою очередь, своеобразие поэтического письма. В стихах Каримовой то и дело обнаруживаются то лексические «сопряжения», столкновения, несоответствия: «Боже, на фига мне...» («Байкал») – здесь в одном контексте, «в соседстве», сталкиваются «высокое» *Боже* и «низкое» *на фига*. Часты «сопряжения» на звуковом уровне, когда поэтическая мысль начинает вибрировать на нити созвучных слов: «За *стужей* льды затягивались *туже*...» (курсив мой – Р. С.).

Но среди всех «изменчивых» уровней поэтики стихов автора, пожалуй, следует особо выделить образную систему, основу которой составляют «водные» образы снега, реки, моря, Байкала (того же моря), а вода, как известно, устойчивый символ жизни.

Как-то, чуть ли не мимоходом, у поэтессы вырывается: «мне безумно не хватает снега» («Из моего окна унылый вид...»). В стихотворении «Снег» этот образ уже становится символом динамизма, постоянной изменчивости жизни. Любопытно, что именно снег, по сути своей *застывшая* вода, сигнализирует о вечном движении жизни, мысль о чём в стихотворении «Вчера был снег. И таял, не спросясь...» композиционно реализуется посредством «сквозной» анафоры «Вчера был снег». Снег наполняет душу радостью приятия бытия, ощущением её новизны, «вымывает» из сердца однообразную скуку, тревогу.

В снеге скрыта большая сила, энергия жизни, которая выплёскивается, шумит в образах реки, озера, моря. В стихотворении «Тыя» река названа «лучшей из дорог», так как именно она дарует счастье любви, духовной близости с человеком: «В её названье – ты да я...». Этим, видимо, и обусловлено постоянное стремление поэта к рекам: «нам же нужно пробраться к реке» («Восточный вдруг»). В стихах Каримовой образ «конкретной» реки (Тыи, Катуня, Черемшана) обретает архетипическое звучание, становясь рекой жизни и смерти – чем-то вроде Стикса. Не случайно, в связи с этим, в стихотворениях появляется то образ лодки («Берега для мостика, речка грежит лодкою...»), то Харона («Поплачь, дружок, над скукой бытия...»).

Близко поэтической натуре Каримовой и море – именно своей изменчивостью: «Море ворох имеет обличий // На сейчас и на случаи все» («Дай мне, Боже, волшебное лето...»). Оно оказывается той самой субстанцией бытия, о которой я сказал выше. В нём – и жизнь, и смерть. В четвёртом стихотворении поэмого цикла «Восточный вдруг» об этом сказано напрямую: «На ум почему-то приходит *memento...* // А море – всё время – загадка вторая».

Итак, в «изменчивости» – коренное свойство поэзии Каримовой. Читатель, пожалуй, даже заподозрит поэтессу в отсутствии вообще какого-либо стержня. Но, как ни парадоксально, в «изменчивости» находит своё воплощение истинная, *неизменная* сущность поэтической личности Каримовой. «Я всё та же, но другое платье», – пишет она в стихотворении «Вчера был снег. И таял, не спросясь...». То есть всё изменяется, но человек остаётся прежним – всё с теми же высокими идеалами любви, добра, сострадания, веками выношенными человечеством – так бы я определил пафос творчества поэтессы. Не случаен здесь стих о *другом платье*. Этим словосочетанием, как я уже отметил, Каримова назвала свою книгу, а также один из его циклов. *Другое платье* – это символ вечно изменчивой, в бесконечно новом обличье Жизни, в которую заключено тело души человека – неизменно прочного сосуда столь же вечной, Божьей Любви.

КОЖЕВНИКОВА

Роза Хабиевна

Молитва

«Бисмилла иррахман иррахим...»
С этой магией фразы туманной
Засыпают в блаженном обмане, –
Только б верить, что кем-то храним.
По ночам и слепым, и глухим,
Когда хвори меня обступали,
Мама зыбку качала в печали:
«Бисмилла иррахман иррахим...»
Заклинанье из глуби веков
Сколько губ под луною шептало,
И над горем и счастьем витало
Столь напевное таинство слов.
И, не веруя силам иным,
Всё же молвишь порой по наитью
Этот древний зачин у молитвы:
«Бисмилла иррахман иррахим!..»

Единственный ребёнок

Единственный в семье ребёнок,
Чей голос так печально тонок...
Соседи как-то в день рожденья
В подарок принесли щенка.
Глаза сияют от волненья,
Горит румянцем на щеках, –
Мальчонка ожил, и, быть может,
Ему собака и поможет
В нелёгком мире, мире сложном
Стать... Человеком.

Последний подарок

В комиссионном магазине платье
Дочь присмотрела матери-старушке.
Что ж, ни пятна на нём и ни заплаты –
Глядишь, и сэкономится зарплата!..
Та не заметит, будет только рада,
Морщины спрячут тихую слезу.
От чувства уценённого не надо,
Пожалуй, ожидать иной награды...

...А это их последнее свидание.

Баллада об урагане

Когда-то этот ветерок
Был вольным ураганом.
Метался, бушевал и мок
Над бездной океана.
Он над пустынями летел,
Охваченный их зноем.
В ущельях горных он гудел,
Не находя покоя.
Однажды на своём пути
Оазис повстречал он.
Среди листвы под пенью птиц
Притих и задремал он.
Кем был он – позабыл вконец.
Одно тревожит странно:
Доносится к нему во сне
Дыханье океана...

Время

Уходит время.
Сравним его с песком,
сквозь пальцы уходящим.
Уходит время.
Сравним с рекой,
в которую нам дважды не ступить.
Уходит время.
Сравним его мы со звездой,
к земле летящей.

Нам в небесах её
уже не возродить.
Уходит время,
шелестя листвою,
травой сгорает прошлогодней
время.
Мы с чем угодно
пытаемся его сравнить.
А оно
тем временем
уходит...

* * *

...И лишь когда он жизнь
почти всю прожил,
понять, несчастный,
наконец-то смог,
что вдалеке
с родных полей цветов –
диковинных
и краше, и дороже...

* * *

Как далеко ты... Шёпот мой услышь,
Растерянный от счастья и волненья.
Твои вершины выше будних крыш –
Они полны небесного значенья.
Я вспоминаю твой печальный взгляд.
Твои стихи читаю, как молитвы.
В них – магия, в них рай и ад
Воображеньем воедино слиты.
Во мне неповторимый голос твой.
Душа твоя поёт во мне и плачет...
Но то, что предначертано судьбой,
Увы, не в силах я переиначить.

* * *

Как плачет о тебе казанский дождь...
В слезах все окна, крыши и балконы.
Как безутешен город миллионный...
По мокрым листьям пробегает дрожь.
Сквозь пелену дождя твои глаза
Я вижу всюду, милые, родные.
В дождливом мире августа одни мы,
Нас разлучить, казалось бы, нельзя.
Ты и загадка, и печаль моя,
Ты – радость предосенняя и тайна,
Счастливым случаем, ставший несчастливым
По прихоти земного бытия.

* * *

Сколько лет ещё, сколько лет
Безрассудному сердцу гореть
На костре, разведённом Любовью,
Разведённом мной и тобою?!
До конца, видно, сердцу гореть,
Угольки вороша и тревожа.
И траве над могилой шуметь
Всё о том же, о том же, о том же...

* * *

Как ты, мама, одна на станции Дельта живёшь,
Каждый день ожидая в дверях почтальона?
Сердце рвётся вдогонку зелёным вагонам.
Как ты, мама, одна на станции Дельта живёшь?
Там соседи при встрече участливо спросят: «Как дочь?»
И услышат ответ по-житейски простой, не новый:
«Жива и здорова она, жива и здорова», –
А во взгляде и гордость, и одинокая ночь.
Спозаранку встаёшь, к колонке идёшь за водой.
Не прольётся ни капли из вёдер певучих.
Так и счастье моё ты по жизненным кручам
Пронесла, чтоб потом надолго остаться одной.
Как ты, мама, сейчас на станции Дельта живёшь?
Вспоминая тебя, всех живущих в разлуке жалею.

А спросить у тебя в своих письмах что-то не смею:
Как ты, мама, одна на станции Дельта живёшь?..

Май Победы

Всё очень просто: улицы промокли,
А утром снег беспечно ликовал,
И то, что был последним, он не знал,
Да мог ли знать, доверчивый, он, мог ли?..
И с каждым днём отцу больней и хуже.
Война осталась с той весны в любом,
Кто возвратился в поседевший дом.
И срочно май отцу, как доктор, нужен.
Склонись над изголовьем, май рожденья,
И май Победы, повелевший жить,
Моей судьбы не оборвавший нить,
Приди на помощь силою цветенья.
Весной, как прежде, будут жечь камыш,
Кострами рельсы будут так же пахнуть,
И будут чашечки степных тюльпанов,
Как стетоскопы, вслушиваться в тишь.
И обмелеет вскоре речка детства,
И лодка припадёт лицом к траве...
Всё очень просто: кончится апрель.
Всё очень сложно: никуда не деться.

* * *

...И старенький велосипед в сарае
Покрылся слоем пыли, заржавел.
Кулас, под солнцем жарким выгорая,
Рассохся, сиротливо сев на мель.
Он пережил хозяина и помнит,
Как тот садился, грёб полуслепой,
На ощупь ставил сеть в тени укромной
И возвращался тихою рекой.
И как однажды «тип» из рыбнадзора
За три воблешки, восемь окуней
Так ветерана вкривь и вкось позорил,
Чтоб та обида до последних дней
Осколка пуще сердце бередила.
Инспектор сети на глазах кромсал.
И таяли в руках отцовских силы...

Ирония судьбы!

Ну кто же знал,
Что монстр*, вырастающий в низовье,
(Который прибыль, говорят, даёт!)
Лет через пять в округе всё живое
Задушит серным газом и убьёт.
И та же рыба поплывёт вверх брюхом,
Что пожалели старикам на стол.
Воистину, теперь ни сном ни духом
Ни перед кем не виноват никто.

Воспоминания детства

Весной настырнее и резче
Сухие ветры здесь гудят.
Пожарищ заревом зловещим
Степной простор в ночи объят.

Горят скирды на горизонте.
Горит вдоль линии камыш.
И искры гаснут на излёте
С недобрим светом среди тьмы.

И небо воспалённо смотрит,
И ни единой в нём звезды.
В душе пугающе и остро
Растёт предчувствие беды.

На узкой дамбе переезда
Белеет мазанки фасад,
Окошком щурится, в надежде,
Что пронесёт, –
 не тронет ад
Пожара бедное жилище,
В котором крашенный топчан,
Три табуретки, стол для пищи...
Далёко станция Рыча,
Мост перейти –
 и будет Дельта...
Чертями множится в глазах,
Чудовищем вползает в тельце
Впервые в жизни жуткий страх.

* Астраханский газоперерабатывающий завод.

...Войны ли это отголосок
В крови ребёнка от отца –
Так не по-детски лились слёзы
В предположении конца.

Женщинам

Какой же мудрой надо быть,
Чтобы беречь всех тех, кто рядом,
Сумев чуть раньше оценить,
Чуть раньше, прежде чем терять их...

Какой терпимой надо быть,
Когда не праздники, а будни,
Чтоб от единственной судьбы
Не отвернуться, если трудно...

Какой же доброй надо быть
Не на словах – самым участием,
Чтоб и терзаться и любить,
И называть всё это счастьем!..

Мольба

На всё печать усталости легла.
Устала воевать сама природа
За зелень, за продление тепла,
Спасти желая это время года.

Как всем законам вечным вопреки
Сентябрь оставить, месяц предзакатный,
Бездумное спокойствие реки
И лес, грибного полный аромата?..

И как в душе сентябрь убережь,
Добра и зла чудное равновесье,
И плавную доверчивую речь,
И холодом не тронутые песни?..

...Так тянется цепочка мокрых дней...
Стволы деревьев откровенно скорбны,

Как будто умоляют: пожалей
Не кроны наши, а хотя бы корни...

Весна

В углу двора забытое полено
К утру нежданно распустило листья,
Как будто не желая примириться
С тем, что корней-то нет,
и нет замены...

Мелодия

В ней ничего, в ней ничего такого...
Лишь потому, что связана с тобой,
Она волнует моё сердце снова
И увлекает властно за собой.

Плыву, плыву по ней я отрешённо,
Как по реке, бегущей вдаль, в Мечту,
Чтобы потом очнуться обречённо
На противоположном берегу...

* * *

Мне нужно отрицание меня!
Милы мне нелюбовь и неучастье.
На грани угасающего дня
Ловлю я отблеск подлинного счастья.
Мне нужно отрицание меня...

* * *

Тень твоя между светом и тьмой,
Словно тающий призрак надежды.
Затяжное утро пахнет зимой,
Всё мрачнее, мрачнее одежды.
От улыбок устали уста,
И подёрнуты инеем фразы.
И разгадка терзаний проста –
Хризантема, увядшая в вазе...

* * *

...И стоят под пенье птичье
Свечи тоненьких берёз
В ожидании величья
Первых зычных майских гроз.

* * *

Опять весна – совсем, как прежде,
А мы разлукой, как межой,
Разделены на две надежды,
И город этот – как чужой.

И тщетно клеить, что разбито
Неосторожною рукой.
Но вечно сердцу с болью биться,
Едва услышу голос твой.

Всё безысходней, горше вера
В твою дарованность судьбой.
Всё безнадежнее потеря,
Всё невозвратнее любовь...

* * *

Гавань тихая. Близко лето.
Снег с черёмухи, синий дом
Долго помниться будут на свете –
Не на этом, так, значит, на Том.

* * *

«Под звуки марша похоронного...» –
Звучит, звучит в душе строка,
Почти блаженством очарована
И неестественно легка.

Зовёт и манит... Пальцы дрогнули.
О, это явью, а не сном
Под звуки марша похоронного
Сентябрь явился под окно.

Найтия Розы Кожевниковой

В качестве рефрена одного из самых известных стихотворений Розы Кожевниковой «Молитва» взята фраза, в переводе с арабского значащая: «Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного!». «Так, с имени Совершенного Милосердия, начинаются вот уже на протяжении 14 веков все мусульманские книги, повторяя начало Главной Книги мусульманства – Священного Корана, ниспосланного Аллахом Пророку Мухаммаду – алайхи-с-салам – «да пребудет мир и благоденствие с Ним» – через архангела Джабраила», – пишет автор-составитель книги «Коран: Сказания, предания, притчи (цитаты с комментариями)» Х. Исмаилов. Добавим, что так начинаются суры Священной Книги ислама. И таково же начало всех мусульманских молитв. Так что то, что Кожевникова стихотворением «Молитва» и его первым стихом «Бисмилла иррахман иррахим...» открывает один из своих лучших сборников «Меж светом и тьмой» (2000), глубоко символично и художественно целесообразно: поэт таким образом высвечивает светом своей души всю книгу в целом и каждое стихотворение в частности. Этой авторской «подсказкой» я и буду руководствоваться в разговоре о своеобразии поэтической системы художника. И начать его хочу с более детального рассмотрения «Молитвы».

Стихотворение положено на музыку и стало известной среди татар песней «Дога», часто исполняющейся по радиоэфиру и каналам татарстанского телевидения. И это не случайно: стихи «Молитвы» необыкновенно мелодичны, что достигается с помощью ассонансно-аллитерационных звукосочетаний, выстроенных на «сквозных» рядах гласных *и, а* и сонорных звуков *л, р, м, н*. Благодаря этому, строки стихотворения очень звучны и словно выпеваются. А песня, как известно, льётся от полноты души.

Глубокая искренность, сердечность, сокровенность человеческого чувства – всё, что можно обозначить одним словом *душевность*, – это, на мой взгляд, ключевая черта стихотворений Кожевниковой. Они «выпеты» поэтом в минуты самых задушевных откровений, в порыве творческого экстаза, по наитию – когда душе ничего другого не остаётся, как просто быть высказанной, и не в человеческой воле сдерживать её в себе. В таком состоянии человек не руководит собой, им будто управляет кто-то свыше. Как не вспомнить в связи с этим предание, согласно которому первые стихи Корана были принесены архангелом Джабраилом в то время, когда Мухаммад предавался уединённому размышлению в пещере Хиро близ Мекки. Лирический герой Кожевниковой также же уединён в мире своих сокровенных дум и переживаний. Но «камерными», для узкого круга, их никак не назовёшь, так как они общезначимы, что есть свидетельство истинной поэзии: ещё Николай Рубцов писал, что лирика – это когда личное переплавляется в общее:

«Бисмилла иррахман иррахим...»
Заклинанье из глуби веков
Сколько губ под луною шептало,

И над горем и счастьем витало
Столь напевное таинство слов.

Действительно, таинственностью, непостижимой магией веет от этих стихов, произнесённых «по наитию», «голосом сердца». Но это не та неуправляемая страсть, равная греху, которой обуреваемы люди, подверженные велениям плоти. «Голос сердца» сопряжён с «голосом разума», обращаясь к которому поэт пишет: «Голос разума, будь пожётче. // Голос разума, будь построже! // Озари бессонные ночи, // Отрезвляя и чувства стреножа». Так что ни о каком хаосе чувств и речи быть не может.

Стихи Кожевниковой, возникающие как бы произвольно, в результате внезапного просветления мысли, прозрения, «по наитию», при всём это отличаются обработанностью, строгой логической выстроенностью. Хотя при их чтении этого совершенно не ощущаешь, что свидетельствует о мастерстве автора. Ему удаётся, руководствуясь «голосом разума», «стреножить» свои чувства, претворяя их в поэтические творения высокой огранки.

«Молитва» мастерски организована, что тоже идёт «в счёт» её музыкальности. При своей астрофичности, то есть неразделённости текста стихотворения на отдельные строфы, оно чётко структурировано. Условно в нём можно выделить четыре четверостишия, каждое из которых рифмовано по «охватной» схеме, когда начальные строки созвучны конечным, а внутренние – друг другу. Практически все рифмы держатся на ассонансах *и*, *а*. Стихотворение условно членится на две практически равные части, края которых обозначены рефреном – упомянутым стихом Корана. И это художественно оправданно. В 1-й условно выделяемой мной части речь идёт в большой мере о «личном», «биографическом»: «По ночам и слепым и глухим, // Когда хвори меня обступали, // Мама зыбку качала в печали: // «Бисмилла иррахман иррахим...». Молитвенный зачин отделяет и в то же время сопрягает «личное» с «общим», идущим из «глуби веков». Конечный же стих «Бисмилла иррахман иррахим!..» «закольцовывает» всё стихотворение в единое «вневременное» пространство, приобщая человека к вечности, космосу, к Богу. Таков, на мой взгляд, высший смысл стихотворения.

Продолжая разговор о структуре стихов Розы Кожевниковой, отмечу, что наиболее «облюбованной» ею стихотворной формой являются 12-стишия. Они, по-моему, как нельзя лучше соответствуют «логичности» произведений поэта. Но здесь следует вести речь не о логике *рассудка*, *мысли*, а о *логике чувства*, в соответствии с которой организуются стихи автора в поэтическое целое. Как, например, в следующем стихотворении:

Всё канет в Лету... Что мои обиды
И назидания разумные твои?..
Тебя мне в этой жизни не увидеть –
Вот самая большая из обид.
Всё канет в Лету... Выдуманный мною, –
Среди снегов горит твоя свеча

Последней неразгаданной любовью...
Всё канет в Лету... И моя печаль
Взойдёт, твою оберегая душу,
Бесценное твоё второе «я».
В отчаянье сорвавшись, не нарушит
Звезда покой земного бытия.

Здесь стиховой материал выстраивается посредством анафоры «Всё канет в Лету...». Создаётся впечатление, что, благодаря своей повторяемости, мысль, заключённая в ней, и является ключевой в стихотворении: человеку, несмотря ни на какие усилия души, не дано преодолеть смерти, небытия. Но, на мой взгляд, не для этого поэт брался за перо. Слишком уж пессимистично, безнадежно, не по-кожевниковски, да и не по-поэтически вообще. Настоящее искусство, будь оно трижды о смерти, всегда оптимистично, пропитано высокой верой в светлые начала жизни. И в рассматриваемом стихотворении Кожевникова всем его текстом стремится опровергнуть категоричность анафорического высказывания, преодолеть возникшую было «обиду». В интонации произведения хорошо ощущается, с каким порывом, напряжением души автора это происходит, что особенно заметно в сплошных анжамбеманах, используемых поэтом. Напомню, это приём «перенесения» незавершённой в пределах стиха фразы в следующий. Трижды, как в магическом заклинании, трижды, как и в случае с рефреном в «Молитве», обращается к «переносу» Кожевникова и каждый раз – после слов «Всё канет в Лету...», словно в их опровержение: «Что мои обиды // И назидания разумные твои?..»; «Выдуманный мною, – // Среди снегов горит твоя свеча // Последней неразгаданной любовью...»; «И моя печаль, // Взойдёт, твою оберегая душу, // Бесценное твоё второе "я"». Причём в последнем случае анжамбеман скрепляет в прочную нить чувства «условное второе четверостишие» с «третьим». В конечных двух стихах в качестве поэтического итога звучит мысль о преодолении смерти вечностью бытия – не случайно, что само слово *бытие* венчает стихотворение. По своей силе, по убеждённости автора в выражаемой в них мысли эти итоговые стихи значительно превосходят трижды повторенное «Всё канет в Лету». Кожевниковой удаётся буквально вымолить эту истину: «В отчаянье сорвавшись, не нарушит // Звезда покой земного бытия». Человек умирает, его жизнь гаснет, как звезда, но за гранью земного бытия – жизнь, в которой любящим душам пребывать вместе вечно.

Итак, *душевность* в значении сокровенности, молитвенности и в значении организации произведений по логике души, чувства – стержневая черта лирики Кожевниковой. Другая, столь же «душевная», связанная с выражением очень личных, порой интимных мыслей и переживаний, – биографичность. В своих стихах поэт воссоздаёт портрет «живого» человека, которому не чужды никакие, самые что ни на есть «земные», боли и радости людей. И самой болящей болью поэта и самой его светлой радостью является его родина – станция Дельта Астраханской области. В связи с этим остановлюсь на одних из самых лучших стихов Кожевниковой – «астраханских».

В их центре – родная станция, в которой прошли детство и юность поэтессы и в которую она постоянно возвращается, воспроизводя в своих стихах её историю, слагающуюся из событий жизни её жителей – родных и близких людей. Мало где можно найти примеры такой прочной спайки судьбы родины с судьбой человека:

Дельта, Дельта!..
Как ты постарела, –
Высохла
под стать Чаплыгину дядь Ване,
Сгорбилась,
как Климина тётъ Маня,
И ослепла,
как добрейшая тётъ Паня...

Память не даёт покоя поэту. Она то и дело оживляет в его душе и сознании дорогие сердцу образы, среди которых самые родимые – тоскующая по дочери мать и обиженный войной и временем отец. «Сквозными» думами о них и неутихающей болью наполнены лучшие стихи «Астраханского цикла»: «Как ты, мама, одна на станции Дельта живёшь...», «Май Победы», «...И старенький велосипед в сарае...», «Воспоминания детства» и другие.

Память не даёт потерять себя в суете буден. Именно о таких «иванах, не помнящих родства» ведёт Кожевникова речь в следующих строках:

И носятся песчаные бураны
Далёким эхом среди нас, живых.
Средь нас, кто рабски суете подвержен,
Средь нас, почти не помнящих родства,
Живущих, как на шутовском манеже,
Не ведая бесславного конца.

Биографичность стихов Кожевниковой не только и не столько в воспроизведении событий реальной жизни, сколько в том, что самое родное у неё – это и есть самое проникновенное, лиричное. В стихах о родине чувствуется особая тональность чего-то очень доброго и светлого, спасительного: «Родной мой уголок, // родное пепелище, // Заросший ежевикой переезд, // В нелёгкие минуты ты мне снишься, // Как добрая спасительная весть».

Своё, наболевшее становится основой поэтического творчества художника. Чужой, заёмный опыт не даёт душе прочувствовать жизнь в полную силу. Прославившаяся как автор многих стихотворных переводов на русский язык произведений татарских поэтов, Кожевникова, тем не менее, со свойственной ей искренностью и прямоотой пишет: «Чужие строки не ложатся // На сердце и на рифмы. // Мешают к сердцу подобраться // Невидимые рифы».

Вообще, на мой взгляд, литературное творчество понималось Кожевниковой не столько как «искусство», ремесло, что бывает характерно для эпи-

гонов и подражателей, а как осмысление почвы-судьбы, всегда «дышащей» в произведениях Творцов:

Страницы классики листая,
Не в прошлом веке мы страдаем, –
Страдаем в этот миг и час.
Теряем, обретаем, любим
И осмысляем наши судьбы
В который раз, в который раз...

«Судьбинность» стихов Кожевниковой столь сильна, что их поэтичность порой становится незаметной, «скрадывается». Будто не стихи читаешь, а слушаешь речь обычного человека – не поэта. Даже перестаешь ощущать такой явный «показатель» стиха, как рифма. Например, в строках стихотворения «И снова об отце»:

...Первые артели.
И – навет.
Лагерь.
Но жива осталась вера.
Дома – голод.
Ты с семьёй – в Посьет.
Умер сын.
Вернулись.
Сорок первый.
Фронт.
Бои.
Дивизия в кольце.
Плен.
Германия.
Концлагерь.
Шахты.
Три безмерных года.
Май.
Ты цел...

Кажется, ничего «поэтического» в этих строках нет: сплошная ткань прозаической речи, самые простые, обычные слова, заключённые в пределы усечённых, коротких назывных предложений, характерных для разговорного стиля. Штрихи судьбы отца, семьи как нельзя хорошо уложились в столь же свойственную «обыденной» речи интонацию перечисления. Но Кожевникова не была бы верна себе, если бы в стихотворении не произошло «взрыва» души, приведшего к строкам самого высокого звучания:

Этих мук хватило бы с лихвой
И на десять жизней. Не случайно
И во мне, послевоенной, твой
Дух, как поводырь, блуждает тайно...

Или, как в стихотворении «Мольба», – с прорывом к стихам-прозрениям: «...тянется цепочка мокрых дней... // Стволы деревьев откровенно скорбны, // Как будто умоляют: пожалей // Не кроны наши, а хотя бы корни...». Подобные стихи воспринимаются так, будто написаны от острой потребности жизни, от осознания её «единственности», неповторимости – перед лицом самой Смерти.

Мыслью о ценности человеческой жизни объясняю себе и увлечённость Кожевниковой таким, не очень-то практикуемым поэтами, жанром, как акростих – это форма стихотворения, начальные буквы каждого стиха которого воспроизводят имя человека. Поэт как бы «закрепляет» таким образом в своих стихах имена близких людей – они самое ценное, что есть у него в жизни. Кожевникова хочет их увековечить, укоренить в вечной жизни, даровать им радость, счастье:

Филисе X.

Фанфарами сентябрь приветствует тебя,
И зелень для тебя он обращает в золото.
Любовью да не обойдёт судьба,
И не бедой она пусть будет – счастьем.
Светла душа безмерной добротою,
А возраст, он не властен над душою.

Отмечу ещё один приём, направленный на «удержание» самого дорогого в мире, – маркирование с помощью прописных букв наиболее ценного и важного – человека, жизни и смерти, любви: «...ничего я, кроме многоточий, // Извлечь из сердца, милый, не могу. // Один лишь ТЫ! Всё остальное – прочее...»; «Вот и всё. // Не будет ни весны и ни лета. // Вот и всё. // Не будет НАС»; «Идут дожди... / Я помню о тебе. // Идут дожди. // Ты снишься мне ночами. // Они напоминают мне // с небес, // ЧТО на земле однажды было с нами»; «...даже если я отбуду // Из мира этого, – ты знай: // ТАМ за тебя молиться буду, // Чтобы в душе твоей был рай».

Таковы поэтические завещания, молитвы-наития поэта Розы Кожевниковой.

КУПЦУИ

Рустем Адельшевич

Запахи

Как сахар, иней на щетине –
входили в дом военные мужчины.
От них холодным пахло табаком, –
и замирал на вздохе тёмный дом,
залюбовавшись белою овчиной,
ремнями твёрдыми
и маленькой звездой.
Пока курили надо мной мужчины,
дым пах горелой сосной
и валенками, сдобными, как хлеб,
а было мне всего-то восемь лет.
Я узнавал беду по запаху,
а не по вскрику –
тут не проведешь.
Не в сено тёплое,
я лез к войне за пазуху,
как в ножны одичалый нож.
Мужчины чай сдували с блюдца,
потом прощаясь, шаркали в сенях.
Мать задыхалась, слабо семеня –
зато глаза-то,
как глаза смеются!
Откуда земляника по зиме,
а руки пахнут ягодой овражной!
Гуляют вьюги по седой земле,
и нюхаю я уголёк в золе
лишь в двух шагах от правды страшной.

* * *

Отец и сын на брёвнышке сидят.
Тихонько курят,
брови хмурят,
как будто ждут дождя.

Отец и сын.
Распилены дрова.
Полешки, точно годы, разбросаны вокруг.
И вкусно пахнет
свежею смолою, опилками от рук.
Так вкусно пахнет.

Вдыхаю запах глубоко.
Один стою в сторонке.
Один.
С ладони на ладонь песок пересыпаю.

Давно ль я сыном был.
Теперь – и сам отец.
А между сыном и отцом –
война и обелиск...
и руки ив плакучих...
ещё вот письма...
опущенные плечи матери...
погоны...
и комом в горле безотцовщина...

Отец и сын на брёвнышке сидят,
толкуют о зиме и холодах.

* * *

За горами война, за горами
обуглилась большой головой...
А здесь ласточки разыгрались
над остренькой травой.
Тополь гнёзда качает,
клеем весны пропах.
Как по сговору нечаянному,
мужики в белом хрусте рубах
подле вишен беседуют.
Тишина.
Покой.
Из одного кисета
табачок крутой.
Хлеб в сельмаге дышит душисто.
Бугор на воду лёг, как утюг.
«Егор-то, Егор-то, ишь ты,
справил новенькую культу...

Разопьём бутылочку, а, Егорка?»
Вожжи враскрутку: «Пошёл!»
Нынче сладко в краю, не горько.
День Победы.
Не воздух – шёлк.
Щёлк! – кнутом...
А там, за горами,
нога Егорова проросла,
в камень вцепившись корнями, –
сосенка – чистое пламя,
заплаканная краса.

* * *

Я был на той войне
отцовским сном глубоким,
как передышка, –
васильки во ржи и спуск к реке,
тумана поволока,
всё дышит ровно, капелька дрожит...
А впрочем,
не важны приметы и детали:
какая птица? кто там на мостках?..
Но пули мимо цели пролетали,
замедлил бег погибельный раскат.
Я был на той войне
отцовским сном последним.
Над госпитальной койкой покружил.
Мы отдыхали с ним
на сене летнем.
Я поплавок сознания сторожил.
И те же васильки во ржи...
Чем далее путь, тем и бесследней.
А впрочем...
Сон предугадать ли?
Уже сгущался, настилаясь, мрак.
Смешались, угасая, дали...
...он отлетал...
он был в иных мирах...
Топталась смерть растерянно
в дверях.
Я был на той войне
отцовским сном последним

когда-то в мае, в 45-м,
почти девятилетним.

* * *

Какие ландыши цвели,
дышали,
как слёзы белые земли,
во сне дрожали.

Сосновый бор сходил к воде
в суровой думе
и на свету, как дым, редел.
Ветра не дули,
а ластились.
Нить паутин
едва вздымалась –
прозрачный след былых годин
и лет усталость.

Лежала гладкая река,
покой и дрёма.
И воздух гладила рука,
как у порога дома.

Сосна дарила запах смол.
И весь я был в обновлениях,
хотя давно уже отцвёл,
весёлый, чернобровый.

Я видел розовую даль
подковой света.
И, как весенняя вода,
текла беседа.

* * *

Глаза совы
во мне живут.

Ночное бденье.
Перо горит.
Крыло парит.

О, как счастлива эта жуть

бесшумного паденья.
Я прорастаю сквозь себя
глазами.
Неправда, что я сплю.
Я просто замер.
...С ладоней утром
я стирал смолу.
На веках остывало пламя.

* * *

Тихие мысли идут, словно кони по лугу.
Вольные травы шумят, а не дни.
Кто на причале затеял разлуку,
слитые тени навек растенил?

Ветер свободный по свету гуляет,
облако катит и сушит слезу.
Кто же минуту любви отдаляет,
ищет пустыню в холодном лесу?

Вот коромыслик летит, незатейлив и скромн,
дышит смородиной синий бугор.
Кто же там рушит невинные кровли,
чёрным крылом застигает покой?

Время подёнкой окно обметало.
День за щеколду задвинул закат.
Чья там надежда звездой осторожною встала?
Конь по деревне идёт, потеряв седока.

* * *

Молоком отпаивают слабых,
облаками ублажают сирых,
золотом обманывают нищих...
Дыханием ребёнка
мир себя согревает.

* * *

Завидую сиянию младенца,
в его лицо, как в зеркало, взглядеться –
и вдруг узнать небесные черты
утраченной когда-то чистоты.

* * *

Эти милые превращения –
веточки в деревцо,
линии в лик –
боятся упрощения,
потому что мир велик.
Выдирается из сложностей,
как птенец из яйца
розоватой кожицей
и подобьем лица.
Так
в хитросплетеньях сада
вдруг тесовый забор
просияет листопадом,
где уютится нежнейший сор.
Лопуха мясистое ухо
одиночество сторожит,
и тёмная старуха
что-то там ворожит.
А она просто слушает
и чует простоту,
ту,
которая ломится в душу
и прослышана за версту.
Тихо юная старость дремлет
в тенетах тишины...
Опускается лист на землю,
и все веточки насторожены.

* * *

Моя встреча с коровой
была неизбежна.
Я погладил тяжёлый лоб,
заглянул ей в глаза,

в посиневшую бездну,
и в меня дно послушно перетекло,
вместе с запахом трав
перебродивших.
Я один, не один...
Фиолетовый воздух – стекло.
Взгляд коровы глубок
из укрытия ниши.
За воротами дремлет село,
погружается в сон,
лунно, близко...
Молоко на веранде я пью
из утробы колодца жизни.
Знаю я, где живу, что люблю.

На кладбище

Тихо душе, осторожно.
Только младенец шалит.
Смотрится глуше и строже
серая каменность плит.

В солнечных зёрнах алея –
скольких тут путь пролёт
прямо к звезде Водолея
за вседоступный порог.

Чем же к себе привлекает
бедный цветок в головах?
Птица, что вечно мелькает
в близких и дальних стволах?

Эта трава, эти листья
спящей глубоко земли,
неомрачённые выси,
говор суровый вдали?

Сдержанность строгих прохожих,
не поднимающих глаз?..
Тихо душе, осторожно,
явленной без прикрас.

* * *

Поэзия не пот, не корка хлеба
голодному на чёрный день,
она лишь отзвук сини неба
иль ласточки мелькнувшей тень.
Она в зерне молочном бродит,
а как поспело – нет её.
Так песня прячется в народе,
струя дыхание своё, –
слепая, в плохонькой одежде,
вся будто вздох, вся будто стон
о погибающей надежде,
о самом тихом и простом...
А вот её уж приодели,
а вот уж в горницу ввели...
И словно птицы пролетели,
пугаясь краешка земли.

На просторе

Жавороночек ты мой – звоночек поля,
ягодная, сочная трава, –
я сижу,
не пригорюнившись,
у рва.
На просторе кто ж расти не волен.
Я расту.
Я слышу, как расту.
Там вон конь прошёл,
неспешный, без уздечки,
чуть колыша лёгкую красу.
На просторе разве кто нездешний?
Вдалеке вздохнул всей грудью лес –
и волнами раскатились травы.
Сколько в мире есть ещё чудес.
На просторе кто ж расти не вправе...

* * *

Не дай вам бог с душою нянчиться,
плутать со свечкою впотьмах.

Лишь тень намёком обозначится
да тут же разлетится в прах.

Куда как лучше встать до света
и выйти босым на крыльцо.
Вдруг ознобит счастливым ветром
и вспыхнет вечности лицо.

Оно по звёздному простору
широким полымем дохнёт.
Земля очнётся, и спросонья
петух охрипший пропоёт.

* * *

В комнате, похожей на пенал,
на судьбу я горькую пенял.
Лист цеплялся за окно
с чёрною тоскою заодно.
А соседи говорили про меня:
молодец остался без коня
и седло с уздечкою пропил...
Я ещё тебя любил.

Видел сны, умел совой летать,
на лицо струилась благодать.
Просыпался. Шорохи ловил.
Я ещё тебя любил, –
как постыдный страх,
в себе таил.

Съела пыль забавы и труды, –
дом не дом, а островок беды.
Поезда кричали вдалеке,
облака летели налегке.
Но мосты я тёмные не жёг, –
я тебя любил ещё.

Как всё кончилось,
и сам я не пойму,
лёгкий снег посыпался сквозь тьму –
это беды отлетали от меня.
Ветер вёл по улице коня.
Мимо окон доброго коня.

Я достал седло с-под головы.
Увидал, как стены голубы.
Раскрутил уздечку –
и погасла свечка.

* * *

Вишнёвый цвет. Как мирно всё в природе.
Летает дождь. Живёт трава у ног.
К рукам река, как женщина, приходит –
из солнца вся, а дно темным-темно.

Желанен хлеб в накрапах крупной соли.
Светло крыльцо, и девочка в окне.
Вчерашний день косою полосой
сожжённой кожи тлеет на спине.

Костёр. Родник. Как истина проста.
И ничего-то больше и не надо.
Ночь успокоилась в кустах.
В стакане неба месяц рафинадом.

Исполненный величья и значенья,
сливаюсь с полночью, и жизни круг
зернистого высокого сеченья
не выпущу из рук.

* * *

В яблоневоm саду,
в яблоневоm
я ли стою на свету,
я ли?
Тени позади свалены
в овраги.
Стволы в красной окалине –
не коряги.
Ни одного изъяна.
Свежа душа.
Словно из яблока
сотворён земной шар.
А я – лишь капелька
голубой росы,

на щеке яблока
утра сын.

* * *

Что под пологом ночи было сокрыто?
Ворковала вода, волновался овраг,
фосфорилась заснувшая в заводи рыба
и чешуйчатый воздух горел на дворах.

Задыхалась старуха в избытке бредовом.
В сараюшке на сене дышала любовь,
полупьяной и полумедовой
на крагах пламенела весёлая кровь.

Мир разлитый, разъятый на звёздные крохи,
умирал, нарождался, сосною скрипел.
Одинокий, прямой у дороги
обливался слезами репей.

Вышел тёмный хозяин к суровому полю,
как к краюхе, посыпанной серою солью.
И стекались коровы к нему, как слепые,
от прозрачного света совсем голубые.

А округа дымилась и дыбилась лесом,
прорастала, вскипала, кололась сучком.
Кнут взлетел и, свистя по блестящему срезу,
пал в траву, как убитый, ничком.

Ну а там, где озвученный воздух прямился
и звенел, обнимая простор,
по-над полем малиновым коромыслом
день высокое пламя простёр.

Мир мифа Рустема Кутуя

Рустем Кутуй принадлежит к поэтическому поколению, чьё детство опалено войной. Щемлящей памятью о ней, об отце, оставшемся лежать на польской земле, пронизаны многие стихи поэта: «За горами война, за горами // обуглилась большой головой...».

Лирический герой многих кутуевских стихов о войне – ребёнок, что мотивировано биографически: детство поэта пришлось на военные годы. Может быть, именно особенностью психологии ребёнка, склонного, как известно, оживлять окружающую действительность, объясняется тот факт, что война в стихах Кутуя предстаёт как нечто живое, персонифицированное в образе некоего мифического существа: «Не в сено тёплое, // я лез к войне за пазуху...».

Война удерживается во впечатлениях ребёнка на уровне чувств, запахов:

Как сахар, иней на щетине –
входили в дом военные мужчины.
От них холодным пахло табаком, –
и замирал на вздохе тёмный дом <...>
Пока курили надо мной мужчины,
дым пах горелюю сосной
и валенками, сдобными, как хлеб,
а было мне всего-то восемь лет.
Я узнавал беду по запаху...

Такое изначальное, «первобытное» восприятие мира, жизни характерно для стихов Кутуя. В процитированных стихах мы привели пример запаха войны, беды. Но устойчивым, не выветриваемым временем в поэзии автора всё же является запах жизни, счастья. Как, например, смолистый сосновый аромат: «Полешки, точно годы, разбросаны вокруг. // И вкусно пахнет // свежую смолою, опилками от рук. // Так вкусно пахнет». Или: «Сосна дарила запах смол. // И весь я был в обновах...».

Сосновый запах в поэзии Кутуя перемешан ещё с одним крепким запахом – коня. Образ коня в образной системе лирики поэта занимает одно из центральных мест. Причём нужно отметить, что именно конь, а не лошадь. Это не трудовая, ломовая лошадь, связанная с выполнением тяжёлых крестьянских работ. Конь Кутуя – это статное, стремительное, как ветер, мчащееся по вольным просторам существо, очень напоминающее легкокрылого Пегаса. Он, скорее, является потомком тех коней, которыми славились болгарские воины: «Ой вы, кони, конь-волны, // порастрёпанные гривы...». Он легок, как музыка: «из-под дуг такие звоны, // не валы, а переливы!». Далёким, мифическим предком кутуевского коня является Айготол: «Айготол, тронем степь, как летящие под ноги гусли, // чтоб она закричала, завывала на древние все голоса». Образ коня у Кутуя сопровождается эпитетом «крылатый», под-

держиваемом в его стихах тем, что в них конь часто предстаёт в «паре» с птицей: «птицы в ручье здесь пили, // ноги купал табун»; «Не расстанется скачущий с навсегда прикипевшим седлом. // Птицу небо не испугает». Этот приём явлен и в стихотворениях «Весна. За коленкором Фета...», «Ой вы, кони, кони-волны...» и других. Любопытно посмотреть, в контексте каких размышлений вырастает образ коня, так как в связи с этим он наполняется особым смыслом, обретает лишь ему характерную «масть».

В стихотворении «Возвращение», посвящённом поиску своих истоков, конь воспринимается как образ, помогающий поэту «идентифицироваться», вернуться к себе, обрести себя, утраченные начала: «Здравствуй, край мой! <...> За околицей ворот простора распахнут, // где вот-вот // чудный конь вдруг заржёт и промчит». В стихотворении «Мне бы хотелось всё переиначить...» конь несёт метафорическое значение утраченного счастья, обманутой надежды: «— Женщина, // ты обманула меня, // сотворив из песка пустыню. // Женщина, // ты увела моего коня...». В «Кумысе» молоко кобылиц становится символом удачи, жизненной силы: «— Пей – и будет тебе удача. // Пей – пока не умрёт беда <...> Пил кумыс до глухого зуда, // пузырьками шипела кровь, // белизной наливались губы, как берёза белой корой». В «Возрасте» поэт пишет о невозможности «впрямь» коня в телегу жизни из-за его отсутствия: «Всё не то, не так, не этак: есть телега, нет коня...». В этих стихах конь понимается как всё та же энергия, сила жизни. То же значение в стихах «жизни твоей отвага // в глазу коня». В стихотворении «Лошадь в городе не увидишь...» конь выполняет функцию, близкую роли известного чеховского колокольчика, напоминающего человеку о его «человеческой» ипостаси, предназначении, помогающего ему удержаться в «седле» культурной памяти: «Если заржёт во сне – // очнёшься, // точно об огонь обожжёшься...». Резюмируя сказанное о коне, отмечу, что конь Кутуя оборачивается мотивом, который, по своей укоренённости в традиции – вспомним о конях в татарской, русской и вообще в мировой мифологии, фольклоре, литературе – и разработанности в стихах поэта, вписывает их в общекультурный контекст.

То же самое можно сказать о другом ключевом образе кутуевских стихов – о птице. Ей посвящено не меньшее число произведений. Она также включена в серьёзные размышления поэта о жизни и смерти и с этой точки зрения также в стихах Кутуя обрастает лишь для неё характерным «оперением». Вот она пролетает в воспоминаниях поэта о своём детстве, задевая крылом его душу: «Мне не страшно, не больно было, – тихо так, словно крыльями била // птица душу мою...». Вот врывается в горькие строки о судьбе: «Сорок лет на земле стою. // Порассыпалась жизни стая, // собери-ка теперь в струю. // Я подранком стою у обрыва...». То, словно чья-то душа, мелькает в стволах кладбищенских деревьев, вызывая мысли о смерти («На кладбище»). То возникает в размышлениях о характере и смысле поэтического творчества («Поэзия, не пот, не корка хлеба...»). «Птицей-словом» называет её поэт в стихотворении «Слободские видения».

Вообще, что-то такое есть в птице Кутуя, что невольно заставляет задуматься о самых глубоких, потаённых вопросах человеческой души: «Высоко

над облаками // птицы крик далеко пронесли. // Каждого крылом коснулось что-то». Образ птицы связан с самым человеческим в человеке – с состраданием, участием:

Галчонок выпал из гнезда <...>
Какой-то мальчик, вот поди ж,
ему и страх уже неведом, –
куда ты, маленький, летишь?
Куда? Спасать чужие беды.
Через окно – навывлет, в жуть
громадно льющейся стихии.
А у галчонка крылья стихли,
так розов, что не продохнуть.
Ладоней ковшик запоздал,
ничто полёта не согреет.
И плачет мальчик...

Именно «человечность» птицы художественно и нравственно оправдывает императив «Отныне и навсегда // птица неприкосновенна!». Человек, написавший эти и выше процитированные строки, имел право признаться: «Я – человек, но я и птица...».

Образ птицы даёт Кутую почти утраченное с войной ощущение дома, «гнезда». И неважно, метафорическое это гнездо («В гнезде осени») или самое что ни на есть «прямое» («Гнездо»). Главное, чтобы было чувство домашности, родного крова, прибежища, помогающего удержаться даже на самом краю:

Вот ласточка ютится на скале,
одна-то помощь клюв да ножка.
А гнёздышко – дивиться на него.
Ветра деревья, как цветы, срывают.
Чуть утишало – снова синевой
играет ласточка и льнёт к гнезду.
Живая!

Такова «жизнеспасительная» сила гнезда. Поэтому и выступает птица в стихах Кутуя как некий высший суд: «птица кричала над головой, // как уличала».

Особое место в стихах Кутуя занимает сова. Почему именно она? Может быть, потому, что сова – символ мудрости? Или потому, что она живет полнокровной жизнью по ночам? Но я, ничуть не претендуя на окончательность выводов, вижу другое объяснение. Один из разделов книги Кутуя «Лист земли» (Москва, 1980) назван «Глаза совы». В стихах этой части книги поэтом ведутся поиски первооснов жизни, творчества, поиски ценностей. Широко открытые «глаза совы» помогают лирическому герою Кутуя обрести их во

мраке жизни, увидеть её явления в их истинном цвете. Они дают художнику прозорливость поэтического мировидения, ощущение полноты жизни при провидении её истин: «Глаза совы // во мне живут»; «Видел сны, умел совой летать, // на лицо струилась благодать».

Роль коня и птицы у Кутуя столь значительна, что они присутствуют не только на уровне образов, но проникают в стиль автора, становясь неотъемлемыми элементами его поэтического языка. Очень важно их «присутствие» в составе сравнений, метафор. Приведу в качестве наиболее показательных некоторые из них: «Ночью // спят холмы, будто гривы коней»; «Тихие мысли идут, словно кони по лугу»; «Тени в травах паслись, как кони...»; «Житие моё простое, // как на гульбищах коней // неосёдланных»; «Мне Казань – бархатистые губы коня!»; «Взрывается воздух. Так взрывается конь от удара камчи // и мчит»; «Когда по крови заката // перья судьбы скользят...»; «руки на столе // лежат, прилежные для службы, // а прежде ты не знал, куда их деть – на струны опустить или на плечи, // и пёрышки по одному терял...». То, что образы коня и птицы столь органичны в ткани поэтического языка Кутуя, свидетельствует о том, что они действительно до боли близки, родственны душе поэта. Это то, что в крови, не удержишь в себе; то, что постоянно просится наружу, находится на самом кончике языка; то, что наболело, кровоточит: «Мы – крепкий народ, гладим конские гривы».

Кутуевские конь и птица, соотнесённые с портретом лирического героя, напоминают об образе древнего охотника или воина. Главное здесь – древность, легендарность. То, что передано нам генетически; то, что изначально. В этом смысле Кутуя можно назвать выразителем тоски татарского народа по своим болгарским истокам, по простору, по степному чувству воли, дающему ощущение почвы, корней.

О том, что пишущий на русском языке Кутуй – поэт не русский, а именно татарский, свидетельствует ещё одно корневое свойство его поэтического мировидения: изначальное восприятие окружающего мира как *живого* создания, вынесенное автором со времён военного детства. Наиболее явным показателем такого мировосприятия является приём «обратного» олицетворения. Ведь мы привыкли к таким олицетворениям, когда природа оживляется, очеловечивается, «объясняется» посредством предметов, реалий из мира человеческой жизни. У Кутуя же, «наоборот», происходит не очеловечивание природы, а «оприродовление» человека, как, например, в строках стихотворения «Женщина стояла у воды...»: «и тихонько плечи обнимала. // Позабывлась. *Гребень в волосах, // как над лесом истончавший месяц*» (курсив мой – Р. С.).

Приём «обратного» олицетворения, или «оприродовления», указывает на полнейшую «слитость» человека и природы в поэзии Рустема Кутуя. Есть у него одно короткое, но очень показательное в этом смысле стихотворение:

Отзвучало синью лето,
на дыбы встают дожди.

Утро девочкою бледной
держит листья на груди, –

так ей боязно и зябко,
так обманчиво вокруг,
ветер хлынет, и охапкой
листья выпорхнут из рук.

Здесь поэт обращается к приёму персонификации природы – утра. Это следствие глубинного ощущения природы *живой*: не *как* живой, а *живой изначально*, по своей сути. Утро в данных стихах – это непосредственно и есть человек, его переживание, чувство, плоть. Совершенно никаких граней между природой и человеком. Полнейшая слитность! Это позволяет автору не только природу «мерить» «человеческими» величинами, но и человека – природой. «Жизнь ослепительна, воздушна, вся из слёз, // – и что ни говори, а тем прекрасна – // белым-бела округа от берёз, // и чёрным ночь пугала нас напрасно», – в этих строках белый цвет обретает хронотопическое значение чего-то светлого, доброго, противостоящего мраку жизни. Природа естественно включена в размышления об основах жизни. Жизнь человека «измеряется» «природными» величинами: жизнь – «воздушна», то есть «прекрасна».

Другой пример: «Куда как лучше встать до света // и выйти босым на крыльцо. // Вдруг ознобит счастливым ветром // и вспыхнет вечности лицо». «Вечности лицо» – это не столько об утренней заре, сколько о человеке. Предшествующие процитированным стихам строки («Не дай вам бог с душою нянчиться, // плутать со свечкою впотьмах...») настраивают именно на такое понимание метафоры. Хотя, признаться, здесь одно от другого совершенно неотделимо.

Приведу, наконец, ещё несколько наиболее показательных примеров полной, без зазоринки, «слитости» человека и природы у Кутуя: «Как всё кончилось, и сам я не пойму, // легкий снег посыпался сквозь тьму – // это беды отлетали от меня»; «Мне больно, // как муравейнику // от вонзённой палки, // сегодня»; «перед далью можно рот разинуть, // ошалев от простора. // Взбрыкнуть жеребёнком...». «Я природы равный сын», – пожалуй, лучше о поэте, у которого не отделить человека от природы, не скажешь. Кажется, Кутуй, вслед за Тютчевым, мог бы с полным на то правом сказать: «всё во мне, и я во всём».

Здесь, повторюсь, на мой взгляд, сказались именно болгаро-татарские корни Кутуя – очень и очень древние. Думаю, что нам, татарам, вопреки многим историческим мытарствам, удалось всё же их сохранить, сблечь изначальное, идущее со времён язычества, времён создания первых мифов, ощущение всего мироздания живым. Всё окружающее «сразу», без сравнения-посредника, «с ходу» видится Кутую одухотворённым созданием: «Ведь это я горю – не осень – // и каплет кровь с моих ветвей, // а сердце возрожденья просит // пустынной горестью полей». Даже то, что в последнем стихе поэт прибегает к такой нечастой форме сравнения, как посредством твори-

тельного падежа, а не с помощью сравнительного союза, указывает на невозможность разъятия природы и человека.

Итак, в качестве предварительных итогов размышлений о поэзии Рустема Кутуя, можно сказать следующее: поэту свойственно «изначальное», до-рассудочное, чувственное восприятие мира; ключевые образы художника (конь, птица) обрастают не свойственными им изначально символическими значениями; для его стихов характерно очеловечивание, персонификация природы и, что ещё более часто, «оприродовление» человека, при этом человек не отделяется от природного и даже не осознаёт себя вне неё. Все эти ключевые черты поэтики Кутуя говорят о том, что его поэзия в основе своей глубоко мифологична, поскольку все перечисленные особенности суть признаки мифа и мифологического сознания. Мифологизация мира и человека – вот коренное свойство лирики поэта.

Центральные образы его стихов – конь и птица – по природе своей глубоко архетипичны, так как исконны, многосмысленны, символичны. Они восходят к древним мифам, рассмотрение которых составило бы предмет отдельной, достаточно, на мой взгляд, пространной и интересной работы. Для этого можно было бы сопоставить кутуевских коней и птиц с конями и птицами из мифов, легенд, литературных произведений многих народов мира. Думаю, что кони и птицы Кутуя в процессе этого «обрели» бы ещё более глубокие архетипические значения, отчего «вписались» бы в очень широкий культурный контекст. Но сейчас этому не время и не место.

Конь и птица Кутуя архетипичны не только по своим «корням» и смыслам, но и по характеру. Во многих стихах они сверхъестественны, «сверхчеловечны». Это создания, существующие вне зависимости от человека, от его воли, но воплощающие в себе его думы и взгляды о самых сокровенных, наиважнейших основах, первопричинах бытия. На такое понимание коня и птицы наталкивают картины, воссозданные в стихотворениях «Ей стало страшно перед бездной...», «Айготол» и многих других. Даже, казалось бы, во вполне «пейзажной» картинке стихотворения «Всё минет – грусть, тоска...», в финале которой «Стоит на взгорье рыжая кобыла // и пьёт ноздрями тёплую зарю», чувствуешь в образе этой самой кобылы неумолимое течение времени-вечности.

Стихам Кутуя свойственна не только мифологизация природы, но и человека. Что-то космическое есть в лирическом герое стихотворения «Непросто беде взглянуть в глаза...»: «Перелетишь – простором окатит. // И не поймёшь, что было: // просто огонь погладил // и звездами плечи побило».

Корни того, что Кутуй так увлечён мифологизацией, мне видятся, повторюсь, в детстве поэта, рано осознавшего потерю отца и желавшего по этой самой причине «вернуть» себе утраченный исток, опору. В этом смысле мифологизация Кутуя представляется как некое «доставивание» утраченного мира счастья, которое, видимо, связывалось со светлым образом отца. Этим объясняется и большой массив стихов о Казани, о легендах, с ней связанных, об истории семьи: цикл «Моя Казань! – сказать имею право» в книге «Профиль ветра» (Казань, 2006), стихотворение «Предки» и многое другое. Этим

мотивировано и то, что «времяпространством» подавляющего числа стихотворений оказывается прошлое. И даже настоящее, сегодняшнее окрашивается его светом, отчего тоже становится некой легендой, мифологизируется.

Ещё один и, пожалуй, ключевой исток мифологизации Кутуя – глубинное одиночество поэта. Отсюда и всепроникающее, повсеместное «оживление» всего и вся – от желания родственной, всепонимающей души: «Мамкой тёплой берёза вблизи». В стихотворении «Зимой в одиночестве» поэт даже творит своих богов – в этих мифических существах видится родное: «Вижу, // через снежные увалы // идут на чаёк ко мне // старички бездомные, // боги бывалые // по снегу, как по стерне».

Закончить размышления о мифологизме Кутуя хочу словами литературоведа В. А. Беглова: «Практика показывает, что интерес к мифологизации возникает тогда, когда время, острее, чем обычно, заставляет размышлять о жизни и смерти, памяти и забвении, свободе и необходимости <...> Чем запутаннее и сложнее жизнь человека, тем пристальнее он будет обращаться к духовному наследию в попытке разобраться в себе, в мире, в отношениях с ним». Жизненный, духовный и поэтический опыт Рустема Кутуя лишнее подтверждение наблюдениям учёного.

МАЛЫШЕВ

Сергей Владимирович

Маленькая вселенная

Это молодо – даже не зелено,
это молодо, как Новый год, –
пятимесячная вселенная
из бутылочки кашу сосёт.

Ослепительная, совершенная,
величайшая из проблем,
эта маленькая вселенная
улыбается ласково всем.

Как её не любить, открытую
для трагедий миров больших...
Что-то тёплое, незабытое
копошится на дне души.

Что бы жизнь с нами дальше не делала,
с доброты начиналась она...
Спит вселенная – память белая,
ни единого пятна.

Картофельное поле

Я на картошке сегодня. Понятна печаль,
ежели в поле встречаете свой день рожденья.
Эх, бригадир, не маячь, на минутку причаль! –
в бездну заглянем, поёжмся от наслажденья.

Кто мы с тобой и куда мы уходим спеша?
Мы для чего, – драгоценная мелочь вселенной?
Наша всеобщая, наша простая душа –
небо негромкое – только загадкой мгновенной.

Лечь на ботву и негромкое небо смотреть.
Вот и закончилась жизни моей половинка.

Время – быстрее, и мир начинает стареть,
грозы не трогают, больше волнует травинка.

Лезет, упорная, в щели разбитых корыт,
суть бытия на неё опирается прочно.
Лодки любовные – все разобьются о быт, –
я, за травинку цепляясь, выплыву точно.

Слышишь, я больше не буду загадочно хмур,
лёгкую мудрость – на смену лирической боли!
Жить для чего – обсуждается лишь в перекур.
Дальше – работа, покуда не кончится поле.

Пахнет топодем

Ночь кончается прогулкой
в утро гулкое вдвоём –
по крутому переулку,
освежённому дождём.

Всё, что нам сказать бы надо,
слышим без обиняков
в тишине, такой богатой
от звучания шагов.

Пахнет топодем, и жалко,
что рассвет разводит нас.
Но душа – как на рыбалке –
отдыхает каждый час.

Ночь кончается под сводом
редких крон и проводов –
чтобы стать за поворотом
частью прожитых годов.

Под простыми небесами
о судьбе тужить не след.
Всё, что было, – было с нами,
и другого счастья нет.

Стук шагов наполнил русло,
освежённное дождём.
Пахнет топодем, и грустно
знать, что на бело живём.

Ласточки над городом

Утром промозглым шагаешь.
Демисезонное
небо на крыши наброшено.
Но приглядишь:
чёрные литерки «э»,
высоко вознесённые,
бодро снуют, создавая подвижную высь.
Ты ещё в день не вошёл,
заполняешь отточия
в мыслях ленивых
сонливой и лёгкой хандрой.
А над тобой
уже занято место рабочее,
где пробирает сквозь пёрышки ветер сырой.
Ритмом подстёгнут,
расслабленный шаг ускоряется.
Волей-неволей
глядишь и на встречных в пути.
Вьётся верёвочка.
Ласточки славно стараются
годы твои с нарастающим утром сплести.
Тельцами греют простор,
энергичными свистами.
Ты ещё в серенькой сырости,
но за углом
воздух увидишь светящимся
и серебристыми
гнезда ребристые в тесном гнездовье людском.

Холодные звёзды

Два мальчика шли по сентябрьской дороге,
сквозь сумрак месили кисельные вёрсты.
Скользили и мёрзли промокшие ноги,
но были прекрасны холодные звёзды.

Когда же в стогах, отдыхая, курили,
солома была золотой, розоватой.
И можно припомнить, о чём говорили,
но памяти хватит сырого бушлата.

Дымкой во взгляде, обмолвкой, игрой интонаций,
жестом случайным позволь появиться на свет
в мире текучих пропорций, объёмов, дистанций
под небесами, которых пока ещё нет.

Лестно подумать, что мне возвращенье возможно,
трудно принять, что уходят действительно все:
грустный кузнечик, друзья и лесок придорожный,
бабочка, жизнь и автобус на сонном шоссе.

* * *

Шагая тропинкой на дачный посёлок,
отметишь, вдыхая приятный дымок,
что красками день не особенно звонок,
зато просветлён и покоем глубок.

Подсохшей былинкой в грязи придорожной
вдруг сердце кольнёт – и замедлится шаг.
Название травки сказать невозможно
и всё же знакомо до звука в ушах.

Подумай – припомнишь. Но ты без причины
волнуешься, быстро шепча наугад:
осот... вероника... овсяница... чина...
ну что там ещё?.. череда... гравилат...

Лежишь на обочине. Мёртвые губы
в улыбку заветное слово свело.
А жизнь продолжается. Теплятся трубы,
сады облетают и в мире светло.

Ночной разговор

Валерию Трофимову

Сколько ночей было прожито в этом году!
Все-то в одной умещаются, друг.
Слышишь, как яблоки падают в стылом саду?
Путаный шорох, отчётливый стук.

Что позади у нас? Ловля синицы рукой,
полупобед, неудач полоса.

* * *

Блеск серебристый, и зной голубой,
и зелёный тростник.

И, с бородёнки рукой утирая вино,
мне улыбается пьяный и мудрый старик.
Как там зовут его? Господи, да всё равно.

Что-то он к месту сказал на своём языке,
я отвечаю кивком – и зачем перевод?
Нам хорошо с ним вдвоём на ленивой реке,
лодочку нашу никто никуда не ведёт.

Кто это выдумал муку ненужных побед?
Замысел стройный,
кому он хоть в чём-то помог?
Разве от облачка в небе останется след?
А ведь плывёт себе, светится белый комок.

Чаши не высохнут, и нескончаем тростник.
Как мы любили, но боль отпустила сердца.
Но ведь любили? И снова смеётся старик.
Время закончилось, только покой без конца.

Только река в серебре и полуденный зной,
где-то сосна на горе, а над ней облака.
Время закончилось. Доброй плывём тишиной,
и неизбывная память о прошлом легка.

* * *

До известного срока время необратимо,
принимаем к сердцу потери одна за другою.
Ненадёжно, тягуче оно, сквозит паутиной.
А потом уплотняется так, что всё под рукою.

И не так уж важна теперь календарная метка:
без конца новогодняя ёлка роняет хвою,
улетает с липы листок, – но та же ветка
опушилась уже, нежна, молодой листвою.

Обжитой уголок остальному равен пространству,
впечатлений груз не качнёт весов коромысло.

И любому повтoру скажем с любовью:
«Здравствуй»,
и прощаться с друзьями нет никакого смысла.

Ни один новый день уже не прибавит веку.
Но пока наша юность в темень летит
с разбега,
не однажды войдём мы в одну и ту же реку,
поиграем ещё в снежки
из прошлогоднего снега.

* * *

Круг замыкается. Детство всё ближе.
Добрая книжка растрогать до слёз
может, как прежде, и снова не вижу
смысла о будущем думать всерьёз.

Но я люблю этот жалкий остаток, —
нет, не себя, а вот этот, вокруг,
серенький мир, где вкусней шоколадок
запах асфальта, шагов перестук.

Просто люблю, и не знаю ответа
ни на один свой ребячий вопрос...
Не развернулась обёртка с конфеты.
Хочется к маме. Пора мне. Дорос.

* * *

Когда я завидую моей собаке,
это не значит, что местами с ней
хочу поменяться: беспаспортной бедолаге
приходится в мире куда трудней.
И пнут, и криком обидят, пусты
порой и хозяйская миска, и родная
помойка. Зато у неё чисты
и душа, и мысли. А я не знаю,
как можно любить бескорыстно, просто —
человека, бога, да хоть что-то,
в конце концов.

И душа, и мысли у меня другого сорта,
хотя я вроде бы не из больших подлецов.

Но понимаю: обуха не перешибёшь плетью,
и бог выгоден, и выбор флага...
Я, наверное, живу на свете,
чтобы меня любила моя дворняга.

* * *

Стены, стол, потолок, шторы,
лампа и тишина
опустошённости – той, в которой
жизнь почти не нужна.

Поговорили, расстались с твёрдым
чувством: в последний раз
видимся, словно бы станет мёртвым
за ночь один из нас.

Если уходят туда, где лучше,
жалость – напрасный труд.
Всё-таки жаль, что судьба и случай
нас уже не сведут.

Надо смириться. К другой не выйти
истине, но, кружа,
ищет душа в мелочах событий
повода для скулежа.

Сдержанно, просто, немногословно...
Взяли – и разошлись,
словно играем в разлуку, словно
миг повторим на бис.

И без конца на пространстве сцены
тянут свой диалог
лампа, стол, тишина и стены,
память и потолок.

* * *

Со мной этот город умрёт, это небо и липы,
ни звука, ни блика не сыщется
в пригоршне праха.
Рассыплется нечто, где точкою –

миг невеликий,
но прежде – униженно плакать
от боли и страха.

И логики нет в череде,
в кутерьме воспалённой,
и разве так можно бездарно,
как будто впервые...
Но всё-таки листья берёзы ли, тополя, клёна.
А всё-таки листья, опавшие или живые.

И в действе, ещё повторяю,
не чувствую смысла,
поверить стараюсь, да только
напрасно усердые...
А всё-таки липы. Вгляжусь в этот глянец обвислый –
и всё, что мне нужно, я знаю
о жизни и смерти.

* * *

Если зацепится взгляд,
слышен отдельный листок.
Лип розоватый опад
светел лежит и широк.
Вспять под обратный отсчёт
плыть, ни о чём не жалеть.
Быстрая, тихо течёт
чистая речка Илеть.
Бел бересклетовый куст,
пенки молочной нежней.
Путь, им отмеченный, пуст
вплоть до младенческих дней.
По небу ветка скользит,
не оставляя следа.
Эту же твердь отразит
за поворотом вода.
Не разбирая, глядеть
и ни о чём не жалеть.
Слушать текучую гладь
и ничего не желать.

Чаши не высохнут, и нескончаем тростник...

Всю поэзию я разделил бы условно на две ветви: поэзию мысли и поэзию чувства. Сергея Малышева я бы отнёс к поэтам мысли, напряжённая пульсация которой чувствуется в каждой клетке его стиха. Слово за словом, строка за строкой, строфа за строфой разматывает поэт клубок своих раздумий о самых насущных проблемах бытия и человеческой жизни, пытаюсь найти ответы на «вечные» вопросы о мироустройстве и смысле существования:

Что позади у нас? Ловля синицы рукой,
полу побед, неудач полоса...

Что мы имеем? Крылечко у ночи на дне,
чтобы в спокойной печали сидеть,
путанный шорох, отчётливый стук в тишине, –
яблоку некуда больше лететь.

Это строки из «Ночного разговора». На этом стихотворении остановлюсь особо, так как в нём «сгущённо» воплощены наиболее значимые духовно-поэтические искания Малышева. И все они даны в форме вопросов: «Как же в одно сплетены // тысячи жизней с моей наравне?»; «Слабым дыханием связанный с бездной миров, // что я вношу в бесконечный сюжет?»; «Если не верить, то что остаётся тогда?». Вопросы в малышевских текстах важны не только тем, что содержат глубокий философский смысл. Они выполняют структурообразующую функцию: выстраивают стихи, ведут их сюжет, формируют композицию. Попробуем изъять их из текста того же «Ночного разговора» – весь его каркас распадётся. Благодаря им, он крепко, плотно сбит.

Плотность – один из характернейших признаков стиха Малышева. И речь здесь не только о «плотности» мысли. Раздумья поэта уплотняют слог, «сгущают» образность, часто сопрягая порой «далековатые» идеи. В стихотворении «Воспоминанье о литобъединении», например, метафора «дым разговоров на крыльце» не только воспроизводит сцену бесконечных курений литераторов, но и выражает суть писательских бесед, отдающих «горчинкой» критики, порой – признаемся – туманной для самого критикующего.

Сопряжённость – другая важнейшая черта лирики Малышева. Часто у него сопрягаются звуковые и зрительные образы: «Если зацепится взгляд, // слышен отдельный листок»; «темень-тишина»; «Слышишь тишину белее снега...». Таково внутренне зрение поэта, его ищущая мысль, которая слышит и видит одновременно, что помогает ей воспринимать окружающее целостно, объёмно, осмыслять, вычлняя в нём наиболее характерное, важное. Порой поэт сопрягает отдельные слова, как в стихотворении «Апрель, 1987»: «Сказать, не упрощая, просто – // простор мешает. Трудно в нём // найти себя... Болезни роста, // живого времени симптом, // всё симпатичнее топта-

ний // в болоте...» (курсив мой – Р. С.). Но ещё чаще Малышев обращается к звукописи – но не красоты-музыкальности ради. Мелодика стихов поэта мотивирована именно плотностью его художественной мысли, как, например, в строках: «В сереньком мире, где нет тебя, // время сочтется – тоски тусклее»; «Сдобренный дымом – и всё же бездомный простор...».

«Как бы сказать покороче?» – задаётся вопросом поэт в стихотворении «Пока не останятся часы». «Сказать покороче» – очень важно для лирического героя Малышева, находящегося в состоянии постоянной памяти о смерти, её ощущения. В этом поэт близок Твардовскому, в своё время, у финала своего жизненного и творческого пути, произнесшему: «короче, покороче». Желанием «сказать короче», чтобы успеть сказать многое, мотивированы и мелодичность, и метафоричность малышевских произведений. В этом смысле ассонансы, аллитерации, метафоры, как и вся поэзия, должны пониматься как нечто противопоставленное и противостоящее смерти, преодолевающее её. Так поэзия сопрягается с жизнью: «С полки потёртый томик приятно взять, – // как там в знакомых строчках идут дела? <...> Через страничку к вам постучатся в дом, // вашу любовь востребуют и возьмут».

Продолжая разговор о «сопряжениях» Малышева, укажу ещё на одну его особенность – на соотнесённость с другими собратьями по перу. Например, в стихотворении «Дельвиг» поэт вроде бы пишет о знаменитом стихотворце из пушкинского окружения, но не о себе ли его строки:

Вот и ходишь из угла да в угол кельи,
рюмочку за рюмочкой глотаешь,
дни свои беззвучно коротаешь.
Господи, как люди надоели.
Где друзья мои? В заснеженной пустыне
быстро же сугробы укатали.
Ни любви, ни смерти, ни так далее.
Лишь всё меньше водочки в графине.

Но это пример, так сказать, «показательный», «внешний». Важнее, с точки зрения сопряжённости *себя, своего* с другими, представляются мне примеры аллюзий, не столь редкие в малышевских стихах. Нужно лишь уметь их увидеть, заметить – тут уж всё зависит от кругозора, интеллектуальности читателя. У Малышева же и кругозор широк, и интеллектуальность высока, что позволяет автору творить глубокие по своему смыслу произведения. Вернусь в связи с этим к «Ночному разговору».

В нём отчётливо слышится шорох и стук падающих яблок. Автор трижды воспроизводит его в стихотворении, причём завершает его этими звуками: «путаный шорох, отчётливый стук». Поэтому этот повторяющийся стих становится очень актуальным в произведении. Строки «путаный шорох, отчётливый стук в тишине, – // яблоку некуда больше лететь» воскрешают в моей памяти есенинские строки «Не каждому дано петь, // Не каждому дано ябло-

ком // Падать к чужим ногам» из «Исповеди хулигана» и стихотворение Мандельштама:

Звук осторожный и глухой
Плода, сорвавшегося с древа,
Среди немолчного напева
Глубокой тишины лесной.

Что это даёт в понимании малышевского стихотворения? Думаю, очень многое: поэт рассчитывал на эффект аллюзии, связывая с ней раскрытие глубинного смысла своего произведения.

Образ яблока, плода в мировой культуре прочно связан с ветхозаветным *древом жизни* и символизирует собой жизнь, судьбу человека. В таком контексте следует понимать образ яблока в есенинских и малышевских стихах, правда, в них он наполняется и «поэтическим» значением: у Есенина напрямую – «не каждому дано петь», у Малышева – через посвящение поэту Валерию Трофимову. О чём может идти «ночной разговор» между двумя поэтами, знают только посвящённые: как о жизни и судьбе человека вообще, так и о жизни и судьбе поэта в частности.

Символическое значение яблока как человеческой жизни, судьбы подкрепляется отнесением к мандельштамовскому «плоду»: сколько ни читаю строки о нём, совершенно не вижу только пейзажа, просто картины природы, но воспринимаю в русле размышлений о жизни и смерти.

Итог этих размышлений в «Ночном разговоре» таков:

Правильность выбора? В этом-то вся и беда.
Брось, посмотри, как спокойно вокруг...
Если не верить, то что остаётся тогда?
Путаный шорох, отчётливый стук.

Многозначный финал. Нужно *верить*, иначе в этой жизни только и останется, что звук падающих яблок. А ведь он и *остаётся*: этим аккордом завершается стихотворение. Так что жизнь человека небесмысленна: что-то обязательно после него останется. Также мне представляется важным другой смысл конца. Поэту удаётся преодолеть смерть посредством своего искусства, стихами: вспомним об аллюзии с есенинским яблоком.

Завершая анализ стихотворения, не могу не указать ещё на одну аллюзию. Строки «Ночного разговора» «Как же в одно сплетены // тысячи жизней с моей наравне?» напоминают о таких же «ночных» строках пастернаковского «Как бронзовой золой жаровень...»: «Со мной, с моей свечою вровень // Миры расцветшие висят», – раскрывая малышевское понимание сопричастности каждого человека и каждой человеческой жизни всему мирозданию, вечному бытию.

Продолжая разговор об аллюзиях в стихах Малышева, хочу остановиться на стихотворении «Блеск серебристый, и зной голубой, и зеленый трост-

ник...» – тоже, нам мой взгляд, одном из лучших у поэта. В нём, на первый взгляд, воспроизводится сцена рыбалки поэта с неким умудрённым жизнью стариком и их разговора о жите-бытье. Но то ли такова изначальная установка автора, то ли в том повинен размеренный ритм стихотворения, такой же неторопливый, как и «ленивая река», только почему-то возникают ассоциации с образами и персонажами древнегреческого мифа: в облике старика явственно проступают черты Харона, перевозящего души людей в царство мёртвых; лодка – это его лодка, плывущая по реке вечности. Эти ассоциации поддерживаются «высокими», «бытийными» по звучанию и смыслу стихами: «Время закончилось, только покой без конца»; «Время закончилось. Доброй плывём тишиной, // и неизбывная память о прошлом легка». И – центральный стих: «Чаши не высохнут, и нескончаем тростник». Последний стих требует отдельного комментария.

В Библии *чаша жизни* символизирует жизнь, смерть, судьбу. То же значение воплощено в произведениях древнерусской литературы, у Льва Толстого, Ивана Бунина, Михаила Булгакова и других писателей. Устойчивым мотивом, символом образ чаши жизни стал в русской поэзии – в стихотворениях Баратынского, Лермонтова, Пушкина и многих других авторов. Так что образ чаши в малышевском стихотворении – это, конечно, не посуда, в которой вино и из которого пьют. Благодаря аллюзиям, стихотворение вписывается в общекультурный контекст произведений о смысле жизни и человеческого существования.

То же самое можно сказать об образе *тростника*. Как не вспомнить в связи с ним о *мыслящем тростнике* Паскаля. Чтобы быть понятным, приведу цитату из философской литературы: «...человека окружают непостижимые тайны, да и сам он есть величайшая тайна... Начало и конец его неизвестны, его существование мимолетно. В таком контексте Паскаль формирует свой знаменитый образ человека как “мыслящего тростника” (*roseau pensant*) – одного из наиболее слабых созданий природы. “Человек не просто тростник, слабое порождение природы: он — мыслящий тростник. Нетрудно уничтожить его, но если всё же суждено человеку быть раздавленным, то он умеет и в смерти быть на высоте; у него есть понимание превосходства вселенной...”».

Думаю, что Сергей Малышев мог бы подписаться под словами великого мыслителя. В его стихах человек так же слаб, но и столь же велик; ему также свойственно понимание величия вселенной и вместе с ней величия человека. И великим человека делает его умение мыслить, осознавать себя и мироздание. Таким образом, Малышева можно причислить к последователям паскалевской философии. И такие стихи, как «Блеск серебристый, и зной голубой, и зеленый тростник...», нужно смело причислять к вершинам русской философской лирики, а самого поэта относить к поэтам-философам.

В познании мира и человека, в поисках истин Малышев не замыкается в настоящем, а в порыве мысли обзирает единое пространство времени, сопрягая разные эпохи. Особенно это характерно для стихов, составляющих в книге «Обратный отсчёт» цикл «Старые часы». Любопытно с точки зрения

сказанного остановиться на двух стихотворениях: «Петербург, конец 1830-х» и «Москва, конец 1930-х». Сюжет обоих основан на событиях одного и того же «толка»: беседа российских властителей с иностранцами, в результате которых последние выносят «высокое», положительное мнение о них – о Николае I и Сталине, несмотря на то, что эпохи их правления вошли в историю как времена тирании и притеснения свободы человека. Стихотворения прочно связываются не только благодаря общей сюжетной коллизии, но и общему стиху – «В беседе с одним иностранцем заезжим...», которым начинаются стихотворения. Зачем же Малышеву было так необходимо связывать их? Лишь в сопряжении двух произведений друг с другом открывается их глубокий бытийный, историософский и гражданский смысл: в плане бытийном – всё повторимо; в историософском – история развивается по спирали; в гражданском – в России, к сожалению, не умеют извлекать исторических уроков, поэтому, даже спустя столетия, возможно возвращение тоталитарных систем...

Как и полагается философу, Малышев смотрит на действительность, повседневность, быт сквозь «призму» вечности, измеряя их её мерками. Этим я объясняю такие неожиданные и на первый взгляд несоразмерные сопряжения-сближения в его лирике, как, например, «звёздочкой в лужу летящий окурок» или «Судьба-рубашка с каждым годом к телу // всё ближе...». Своим поэтическим взглядом Малышев одновременно пытается обзреть, объять всё: «от звёздной бездны до счастливой строчки», «от ласточки до мостовой». В стихотворении «Неужто я чего-нибудь хочу?..» поэт признаётся:

...в этот разговор вместились всё,
что меры под луною не имеет.

А это всё – от дружбы до стихов.
Ему не грех казаться бесполезным,
с ним ни один из мыслимых веков
не станет ни последним, ни железным.

Не ослабевающей ни на секунду, ни на стих «памятью» поэта о вечности, о времени объясняется любовь Малышева к датам – ими озаглавлены многие его произведения. Мерное, неторопливое, тихое течение Времени порой приводит к отсутствию рифмы в них (видимо, дабы не нарушить её звучностью вечности), к использованию ритмов древнегреческой поэзии, как, например, в стихотворении «Зонт. В начале века»: «И государство хранит, и заблудшие души врачует // мудрый служака-педант, исполняющий букву инструкций...».

«Мерой самую большой» (Твардовский) измеряется у Малышева и человек. С высоты «вечных» идеалов любви и человечности смотрит он на себя и на других: «Я, наверное, живу на свете, // чтобы меня любила моя дворняга»; «В близкие лица и души вглядываюсь осторожно, // помню, что ранить нельзя, – скоро растаем в веках». На свой юмористический вопрос о комаре «В

лесу и в поле кто страшнее всех?» поэт с ужасом слышит от детей ответ: «Человек».

Видение жизни и человека «глазами» вечности формирует стиль малышевских стихов. В её основе лежит «сор» жизни – тот самый, о которых писала Ахматова в стихотворении «Мне ни к чему одические рати...»: «Когда б вы знали, из какого сора // Растут стихи, не ведая стыда...». Малышев полностью солидаризуется с великой предшественницей, называя одно из своих стихотворений «Когда б вы знали»: его стихи тоже растут из «сора». Растут-то растут, но вот вырастают, как и стихи Ахматовой, в нечто совсем не «сорное». Предметная реальность, конкретика наполняется у Малышева символической многозначностью, отражая не действительность как таковую, а реальность души, духа. Это можно сказать о деталях интерьера («Стены, стол, потолок, шторы, // лампа и тишина»), пейзажах («Здесь мирок сотворён, а не сляпан. // Складной разумностью радуют взор // плотная тяжесть развесистых яблонь, // хрупкой малины чеканный узор...»), об образах многочисленных птиц и животных (стихотворения «Петух», «Ласточки над городом», «Лось» и др.), об излюбленном Малышевым снеге, о котором можно вести отдельный разговор.

Благодаря приёму одухотворения материального, «реальные» картины под пером Малышева оборачиваются картинами «бытийными», близкими вангоговским пейзажам, как это было в стихотворениях «Ночной разговор», «Блеск серебристый, и зной голубой, и зеленый тростник...» или, например, в «Холодных звёздах». Я не случайно упомянул имя художника-импрессиониста Винсента Ван Гога. Стихотворения Малышева столь же импрессионистичны, как и картины нидерландского живописца. Картины действительности в них становятся картинами, «пейзажами» души и сознания человека:

Ночь кончается прогулкой
в утро гулкое вдвоём –
по крутому переулку,
освежённому дождём...

Стук шагов наполнил русло,
освежённое дождём.
Пахнет тополем, и грустно
знать, что набело живём.

Наиболее сильное впечатление, остающееся при прочтении малышевских стихов, при всём том, что поэт постоянно помнит о конечности земного бытия человека, – ощущение радости, полноты жизни. Вот и в процитированных стихах «грустно знать, что набело живём», но никакой горечи, только свет, наполняющий душу. «Умение радоваться мелочам» будней отличает Малышева. Из этих будней складывается жизнь человека. Да и само слово «будни» поэт менее всего связывает со скукой-серостью жизни (хотя есть в

его стихах и такое понимание). В «буднях» главное *быть*, и в этом смысле они вписываются в пространство Бытия, на фоне которого поэту видится всё происходящее перед его глазами.

«Обратный отсчёт» – так называется лучшая книга Сергея Малышева. Стихи в нём расположены вопреки традиции: от поздних по написанию к ранним. Зачем это нужно было Малышеву? В стихотворении «Судьба», посвящённом Габдулле Тукаю, он высказался о поэзии как о судьбе: «Он был поэт. // Иначе говоря, // стихи – его судьба». Стало быть, двигаясь к началам своего творчества, поэт утверждал вечность жизни, преодолевал судьбу. Движение к жизни, а не к смерти – таков глубинный смысл «Обратного отсчёта». И читая стихи Малышева, веришь, что, действительно, невозможно «завершённой представить поэзию», как нельзя поверить в конечность жизни: «Чаши не высохнут, и нескончаем тростник...».

ОСЛУЖИВ
Алексей Изгорович

* * *

В саду проветренном трещат,
переплетаясь, сучья.
Дымят затяжкой натошак
сырые листья в куче.

Октябрь предупредил хотя б
о скором отступленье –
и непереварима хлябь,
как чёрствый хлеб с похмелья...

Судьба с три короба наврёт,
но, правдой огорошен,
смотри, как ливень лужи рвёт –
он злобой перекошен.

Шут

В сознание тщательно просей
слова, не захлебнись в миноре:
улыбка делает друзей,
людей отталкивает горе.

На отвороте влажен плащ.
Но – засуха в глазах горячих.
Пусть в хохот превратится плач...
А впрочем, это – для незрячих.

Как удаётся в спич облечь
тебе отвратное до рвоты?
Людей от жалости беречь –
неблагодарная работа.

Надежда

Всё перепутав, дыши из-под палки:
в пятках душа и в дырявых ботинках,
но этот хлам не отправишь на свалку,
в хламе нет-нет, а вспорхнёт золотинка.

Так в темноте беспросветной, почти что
вышколенной, разбежавшись с пригорка,
солнце январское, будто мальчишка –
брызнет в глаза апельсиновой коркой!

Трусость

Вызывает меня на дуэль
трель скворца – будто дрель через стену.
Створки окон срывает с петель
непростая метель перемены –

там опасно, там лупят под дых
и спускают презрительно с горки...
В трудном поиске истин иных
ветер волны листает на Волге.

Только там, где случайностей нет
и не травят покой электрички,
в тёмной хвое осветят мой след
белки, вспыхивая, будто спички.

* * *

Вышел разом у лета заряд,
износилось лоскутное платье.
В тучах жёлтые лампы горят,
освещая сады на закате.

И пытит, как буксир на мели,
Костерок у туристских палаток.
Суется, выбирают шмели
из цветов медоносный остаток.

Им недолго ещё пировать –
не до жиру мохнатым обжорам.

В зачистивших дождях виноват
дирижёр лягушачьего хора.

Мокрый лес, погружаясь в туман,
Открывает сезон левитации.
Но его невесомость – обман –
На туман нелегко полагаться...

И по правилам странной игры
Всё живое застыло над бездной,
Где блестят голубые миры –
Ледяной виноградник созвездий!

* * *

Дело движется, видно, к развязке:
посередке страны к фонарю
прислониться нельзя без опаски...
«Вот такие дела», – говорю.

Жду в засаде, в секрете, в разведке –
надо мной полыхнёт горячо...
И нагая ивовая ветка,
как нагайка, ошпарит плечо.

Что же – в гущу событий не лезу,
достаётся и так дураку.
Как язык прикипает к железу –
из России удрать не могу.

Только вовремя нужно очнуться,
прочихаться, рассеять наркоз –
в организме моём приживутся
кровеносные плети берёз!

* * *

Если прошлое позволит,
попаду тревоге в плен.
Как живца меня проколет
правосудия безмен.

Потому что – волчьи ямы,
и не весть, а невесть что.
Над страной великой явно
прохунилось решето.

Потому что замечаю,
чувствую такую штуку:
если карп в пруду мельчает –
рыбаки впускают щуку.

Заморозки на Покров

Ночью челюсти окон морозом свело –
это ветер, сорвавшийся с петель,
докурил до ногтей дармовое тепло,
и просыпался снег, словно пепел.

И стучит шпингалет, как двухтактный движок.
Дробно звякает крышка графина...
Кто-то свечку за свечкой на улице жёг,
заливая асфальт парафином.

Утром тусклая улица пахнет парной.
Тротуары, припёртые к стенке,
покрываются кожей гусиной, свиной...
И дрожат пешеходов коленки.

Когда...

Когда мы были молодыми –
ловили кайф в шашлычном дыме –
укрывшись майскими садами
нарыли нор от дамы к даме!
Прощались на закате мая,
по два часа не вынимая...
Потом, одни, впадая в кому,
шли, под конвоем, к военному.
Там, расставаясь с Лёвкой, Севкой,
как тормоза, визжали девки...

Другие, испугавшись врак
про армию и всё такое,
попасть пытались на филфак,

им биография героя
морфлота или ВВС
не представляла интерес.

Когда мы были, как стальные, —
другие были стариками.
Теперь — Харуки Мураками,
Пелевин, я... и остальные.

* * *

Лубочную мальву лизал и левкой,
дрожа, как собачий язык, гладиолус.
И был ослепителен флоксов прибор
к штaketнику, что опоясывал глобус.

Фланелевый вечер протёр фонари —
глазунью в проколотом звёздами небе.
И клёны смотрели, играя в «замри»,
как дышит варенье в посуде из меди.

Такую картинку сейчас угадал,
и — будто на зуб порошок анальгина:
замри, ностальгия по давним годам,
где дороги драки, крапива, ангина...

Я каждую мелочь на ощупь найду —
во рту прокачу, как слюну после качки:
и пряник печатный, варёный в меду,
чернику, и кровельный вар вместо жвачки!

На велосипеде

Луку седла ладонью тру.
Передний обод чуть люфтует.
В лесу сосновом поутру
июльский ветер в ус не дует.

Гремит звонок, рулём рогат.
Педали тикают послушно.
На брючине махрится кант,
зацапан цепью и надкушен.

Велосипед неукротим:
виляя втулкой по делянке,
попал в мишени паутин
с пустыми мухами в десятке.

Смолы сияние вокруг.
Под шиной вздрагивают шишки.
На гриб заносит крест паук –
его замучила одышка.

Вкусна в неведомом езда,
ясна улыбка ревизора –
сочится кислая вода
лесного яблока раздора.

Миную вскользь лосиный след
и муравейники объеду.
Неси скорей, велосипед,
к знакомой девушке к обеду.

Но там жених её, с утра –
пойму, столкнувшись с ним в гостиной.
Как на щеках моих остра
и ядовита паутина!

Маятник

Я продолжаю старую игру...
Шагать вперёд – не хватит равновесья.
Сегодня солнца в небе – хоть залейся,
но до отвала – нищих на миру.

Готовится великий листопад.
Пар изо рта. Итак, я продолжаю
бояться смерти, чувствовать пожары,
определяя время наугад.

Набивший шишки – сам себе пятак,
я – диск на деревянной пуповине,
задевший землю, вымазанный в глине,
благословляю тактику «Тик-так»!

* * *

Мне 20 лет. Застава Ильича.
Московский отвратительный рассвет.
«Спидола» напевает «ча-ча-ча» –
а у меня такой игрушки нет.

Я соблюдаю вынужденный пост.
Литинститут. Долги. Снежинок хруст.
А у Москвы на всё найдётся ГОСТ,
Как будто создавал её Прокруст.

В носках дырявых прячешься в гостях
За кресло, за диванчик, запахло
Иметь избыток кальция в костях,
А воспарить, как будто НЛЮ!

...Когда же все расселись по местам,
Я понял, осенив себя крестом,
Что я – щенок дворовый без хвоста...
И не жалею, в общем-то, о том.

* * *

Мороз и солнце – день опять
пронизан веселящим газом!
С похмелья хочется летать,
а не торчать над унитазом.

Свист, как сосулька изо рта.
Не воздух в лёгких, а заноза:
в нём сладость, горечь, кислота –
сухая кислота мороза.

Как шейный остеохондроз,
стоит тупая боль берёз.
И, белоглазы, вдалеке,
дома, как рыбы в кипятке.

Музыкант

Во фраке похож на орла,
с узбекским браслетом от сглаза,

завёлся, когда из жерла
сирень расплескалась над вазой.

Он вспомнил, как пахнет смола
и подовый дым над полями,
и, выскочив из-за стола,
погиб в рукопашной с роялем!

* * *

Мы выбрали правильный вектор –
здесь ночью луна, как прожектор,
и, словно от нервного тика,
мигает в люцерне клубника.

У озера ставим палатку –
на рваной лужайке заплатку.
И вязнет в зубах, как ириска,
смола комариного писка.

Любимая! Брось разговоры:
Политика, армия, вору.
Достань огурцы, помидоры,
и шпроты – как новые шпоры!

Пивка, чтоб дышалось на воле,
плесни мне из термоса, что ли.
Под небом, давай, на траве
молчать головой к голове!

* * *

Окна вымыты за ночь с горчицей.
И под утро не спится уже.
Восходящее солнце лучится
позолотой на карандаше!

Пахнет прелью. Согрелось пространство,
где надклюнуты вишни. И тишь
ненадолго в твоём государстве,
только сердце – как в воду летишь.

Это солнце штрихует сады,
где ботва помидорная – в куче,
где на чучело френч нахлобучен,
у арбузов болят животы.

Веселей добиваться удачи,
если астры с утра зацвели.
На разъезде шлагбаум рыбачит
и машины пыхтят на мели.

Едкий пар паровозного ветра
провоцирует птичий аврал.
До малинника полкилометра –
против ветра и через овраг!

* * *

Опять насочинял какой-то гой,
орудуя пером, как дамской шпилькой:
У лукоморья дуб – не в зуб ногой,
Русалка на ветвях пропала килькой!

Камыш в пруду, как взвод богатырей,
забывших плавки, не спешит на сушу.
Стоит изба без окон, без дверей –
собачья конура на ножках Буша...

Нет окончанья сказки до сих пор.
Давно смежил глаза ревнивый гений.
Но что-то лепо бьшет Черномор!
И Змей Горыныч ботает по фене!

И я сюда когда-нибудь вернусь,
где, брошена детьми и мужем бита,
на побережье Крыма чахнет Русь
старухой у разбитого корыта.

* * *

Рву жизнь, как волк – бараний бок.
Вкус крови бытия бодрящий:
глатаю за куском кусок,
а следующий будет слаще!

Худое время, пощади
мои желанья и привычки.
На площади души – в груди
сплошные точки и кавычки.

Безденежье – ещё не долг,
но лесенка к нему витая.
Рву жизнь, как волк бараний бок,
потом – фанерой залатаю!

Безрыбье – не всегда без рыб.
Ты разудачишься, бедняжка!
Вот так же с колокольни – прыг...
и повисаешь на подтяжках!

Забытый лес

С хрустом стебли ломая в коленях,
спотыкаясь, кусты вороша,
я вхожу в этот лес постепенно,
будто в воду, почти не дыша.

Вдоль оврага, где скользко от глины,
я тропинку в хвое отыщу.
Хвоя, в тонких витках паутины,
прилипает к сырому плащу.

И, услышав знакомые трели,
не успев осознать, на краю...
Упаду, соловьями расстрелян –
за короткую память свою.

На площади души

Разговор о поэзии Алексея Остудина, как это на первый взгляд не покажется странным её знатокам и ценителям, лучше всего начать с характерной для неё традиционности тематики. Об этом сам автор со свойственной ему иронией написал в стихотворении «Тема»:

Стараюсь выбрать тему поновой.
Но всё – старо. И в солнечной системе,
хоть кровь из носа – нету новой темы,
ну разве что: луна... да соловей!

Итак, Остудин продолжает разрабатывать темы, заявленные столетия назад: любовную, пейзажную, гражданскую. Темы, что называется, «классические», «вечные», но каждый раз он решает их по-своему, представляя в своих стихах поэтом своего времени, озабоченного его болями и радостями.

Одним из лучших стихов Остудина о любви, на мой взгляд, является «Перпетуум мобиле»:

Спотыкаясь на стыках, трамвай дребезжит,
пассажиров невеселы лица.
У тебя на ресницах снежинка лежит
и растаять от счастья боится.

Пробираюсь с трудом мимо шапок и лыж.
В окнах столько овалов надышано!
Ты одна, моя радость, бровями паришь
и зрачками мерцаешь возвышенно.

В этой жизни облыжной покой твоих глаз
принимаю, как премию Нобеля!
Шестерёнки снежинок вращает для нас
снегопада перпетуум мобиле!

Короткое стихотворение, но объёмное по поэтической мысли. Оно воплощает целое состояние мира. Это мир скуки, обложной повседневности, когда даже выходной день (а иначе когда ехать куда-то с лыжами!) не отличается от серых «трудовых» будней. Души пассажиров-сопутников словно заледенели, потому вполне понятно их стремление надышать в окнах овалы. Атмосфера тяжести, духоты, тесноты царят в стихотворении: не случайно, поэт разворачивает его действие в давке трамвая. Жизнь наделяется много говорящим эпитетом *облыжный*. Напомню, что это устаревшее просторечие обозначает «заведомо ложный, обманный». Сейчас мало кому понятное, оно словно «заведомо» и употреблено автором, который таким образом усилива-

ет «тяжесть» стихотворения и воплощает мотив обмана, лживости, неистинности человеческого существования, лишённого ощущения радости, счастья жизни. Хотя это возможно, но при одном условии – если душа человека наполнена любовью. Такими в стихотворении предстают «вечные» персонажи любовной лирики – Он и Она. Любовь возвышает человека над низкой действительностью. Это тот перпетуум мобиле, вечный двигатель, который приобщает человека к чуду мироздания. Так стихотворение о любви вырастает в целую философию жизни, выражая размышления автора о мире, человеке и смысле его жизни.

Такой же «философский» уровень разговора характерен и для пейзажной лирики Остудина. Казалось бы, в столь разработанной в русской поэзии теме, как природа, уже невозможно сказать что-то своё, незаёмное, но и здесь поэт своеобразен, демонстрирует свои поэтические находки:

Дунула цапля на озере в дудку,
скрипнул сверчок головой заводной.
Звёзды ещё не погасли – как будто
небо забрызгано пастой зубной...

Солнце раскрылось ромашкой лечебной.
Пахотой пышут кусты лебеды.
В воду нырнул я, как спрыгнул с качелей,
и не почувствовал этой воды...

В августе память, наверно, капризней –
прошлое не отпускает ни дня.
Словно живёшь и не чувствуешь жизни.
Словно вот-вот и начнётся она.

Природа дана Остудиным как внутренне состояние человека, становится пейзажем его души. Под пером поэта всё оживляется, даже те предметы и явления, которые вроде даже потенциально не могли бы быть оживлены, как например: «пыхтит, как буксир на мели, // Костерок у туристских палаток»; «торчит водопроводная колонка, // железной ручкой взяв под козырёк». Оживляется, наделяется целым «сюжетом жизни», «судьбой» мост,

который две равнины сдвинул
и, напрягаясь, словно кот,
худую выгибает спину,
чтоб не намок его живот.

Под вечер крыльями из жести
ветра туман с него стригут,
составы гладят против шерсти
и берега не берегут.

«Оживлённый» пейзаж выражает стержневую мысль поэзии Остудина, раскрывает основу его мировоззрения: *всё – живое*, стало быть, неповторимо ценно. Эта мысль, в конечном счёте, не только одухотворяет природу, но и утверждает самого человека в мироздании. Понятие *живого* я бы вообще назвал корневым в поэтической системе стихов автора. Это было верно подмечено Павлом Басинским в предисловии к книге Остудина «Бой с тенью» (Харьков, 2004), названном «Живой». Поэт не раз «напрямую» обращается к этому слову, обозначая им всё ценное – как в мироздании, так и в себе самом: «Всё живое застыло над бездной»; «Выталкивая смерть взашей, // берёт природа за живое». К *живому* мы ещё вернёмся, а пока обратимся к ещё одной тематической группе – к стихам о родине.

Наиболее показательна для Остудина эта тема, по-моему, решена в стихотворении «Дело движется, видно, к развязке...», ключевой мотив которого – разлука с родиной (тоже, кстати, традиционный) – дан в совершенно неожиданных образах, ракурсе: «Как язык прикипает к железу – // из России удрать не могу». Так, ощутимо до физической боли, передана боль душевная – от возможной разлуки с родиной. Так утверждается верность ей, выражается кровная связь судьбы поэта с судьбой России, себя – с ней: «в организме моём приживутся // кровеносные плети берёз!».

Эта выстраданная Остудиным мысль тоже характеризует его как поэта своего времени, отмеченного заразой эмигрантства, поэтому в его стихах «классическая» тема родины обретает современное, даже злободневное звучание:

...я сюда когда-нибудь вернусь,
где, брошена детьми и мужем бита,
на побережье Крыма чахнет Русь
старухой у разбитого корыта.

Такие стихи мог написать лишь человек, всей душой болящий за судьбу России. Но мало болеть за неё. Нужно вести за её сохранение борьбу, настоящую битву. Этим я объясняю тот факт, что лейтмотивом поэзии Остудина, скрепляющим в единое целое разные по своей тематической направленности стихи, является *борьба, бой, битва*, совсем не обязательно связанная только с понятием родины. Приведу лишь некоторые примеры: «Вызывает меня на дуэль // трель скворца...»; «Жду в засаде, в секрете, в разведке...»; музыкант «выскочив из-за стола, // погиб в рукопашной с роялем»; «Не хватает поля брани...»; «Ничего, что горбимся – // мы ещё поборемся!»; «...на избранном пути // воюю, клюнув, за жестянку, // застрявшую в моей груди!»; стихотворение «Перед войной»... С этой точки зрения, представляется удачным заглавие послесловия Игоря Кручика к упомянутой книге «Бой с тенью» (!) – «Войско песен из Казани.иа».

Я бы вообще назвал *борьбу* «генеральной линией» судьбы лирического героя поэзии Остудина. Об этом, «судьбинном», значении мотива борьбы сказано в стихотворении «Судьба», которая названа «за первенство борьбой».

Это битва с «временем общих величин», ради обретения «единой меры», то есть идеала, нравственной константы «в тесноте различных мер», ради «высшей меры» человечности, неподвластной преходящему, – битва ради жизни, её укрепления, избавления от всего временного и временного, наносного. Согласно народной мудрости, как в стихах:

...замечаю,
чувствую такую штуку:
если карп в пруду мельчает –
рыбаки впускают щуку!

В конце концов, это борьба за себя, за «живого» человека:

Мы с кем-то подрались до первой крови,
а я плевать хотел на гололёд...
Вон тень моя лежит с разбитой кровью,
и почему-то долго не встаёт.

Эта тень, с которой идёт борьба, – не тот ли «Чёрный человек», о ком в своё время с болью писал Есенин. В контексте творчества Остудина, стихотворение «Бой с тенью», откуда процитированы эти строки и которое дало название целой книге, я склонен воспринимать как реализацию пастернаковского принципа «ни единой долькой // Не отступаться от лица, // Но быть живым, живым и только, // Живым и только до конца». Таково *самостоянье* (А. С. Пушкин) поэта.

В силу избранного принципа изображения «живого», не омертвевшего душой человека, особое место в поэтическом мире Остудина занимает образ его лирического героя, точнее, мир его мыслей, чувств, переживаний – то, что «спрятано там, в человеке!». На спрос «Вы хотите интимных глубин» в стихотворении «Медосмотр» поэт отвечает: «Не волнуйтесь – их есть у субъекта». Интерес к человеку, к ярко выраженному лирическому «Я» демонстрируют многие, если не все, стихи автора. Он не скрывает ни одной мелочи его жизни, поскольку в единичной по своей сути жизни человека нет мелочей. Детали быта, окружающие человека, так или иначе характеризуют состояние его души, а потому не могут не быть интересны читателю. Вот, например, какие «мелочи» жизни всплывают в рассказе о себе, 20-летнем студенте:

В носках дырявых прячешься в гостях
За кресло, за диванчик, запаadlo
Иметь избыток кальция в костях,
А воспарить, как будто НЛО!

Эти и другие, «похлеще», мелочи, порой эпатируют. Но это эпатаж не ради выпендрежа, столь свойственного некоторым поэтам, особенно постмо-

дернистского толка, прикрывающим вызывающей ячестью, скандальностью свою бесталанность. Эпатаж Остудина совсем другого свойства, иной художественной установки: направлен на утверждение своей самости, своего, выстраданного, личного и личностного. Это вызов, который сродни откровению, равному утверждению самого себя, обретения и сохранения своего, а не заёмного, жизненного и творческого опыта. В этом русле я воспринимаю и некоторые грубости, хулиганские «выходки» поэта, а именно: использование грубой, нецензурной лексики, тюремного жаргона, обращение к «ненормативной» образности, воспроизведение «неприглядных» сюжетных ситуаций, как, например, в стихотворениях «Когда...», «Трезвой голове от пьяных мыслей...» и других.

Характеризуя лирического героя Остудина, нужно отметить такую черту его натуры, как масштабность, «космичность». «Приятно знать, что всё в порядке, // прикуривая от луны»; «Ладонью к туче прикоснулся, // и молния в моей руке // Затрепетала в точке пульса, // И гром ударил на реке», – таковы масштабы «Я» поэта. И на «космичность» он имеет право, так как заражён вековой идеей Жизни.

Своей «громадностью» лирический герой Остудина более всего напоминает мне лирического героя Маяковского. Чем он, например, не «облако в штанах» в следующих стихах: «...я, // руками разгоняя вороньё, // целую утром тучу кучевую // в сухие губы молнии её!». Вообще, переключку с Маяковским можно увидеть в ряде стихов поэта, также как без труда обнаруживаются и другие их истоки и связи: с Александром Пушкиным («Мороз и солнце...»), Фёдором Тютчевым («Люблю грозу!»), Юнной Мориц («Когда мы были молодыми...») и другими классиками и современниками автора.

Часто и многое черпает Остудин в русской фразеологии. В его стихах то и дело возникают устойчивые обороты речи. Причём использует их автор не только в их фразеологическом значении. Он как бы совмещает *смысловой* аспект с аспектом *зрительным* – с тем, что лежит в основе фразеологизма, сопрягает его переносный, «фразеологический», смысл с прямым значением составляющих его слов. «В лесу сосновом поутру // Июльский ветер в ус не дует». Здесь фразеологическое значение «в ус не дуть», то есть «быть беззаботным», поддержано и метафорическим значением, вырастающим из прямого значения действия *дуть*, на самом деле характерного для ветра. Так фразеологизм обретает уже не замечаемую нами в обыденной речи, утраченную образность, свежесть, «живость». Что-то похожее происходит и в стихах: «Всё перепутав, дыши из-под палки: // в пятках душа и в дырявых ботинках, // но этот хлам не отправишь на свалку, // в хламе нет-нет, а вспорхнёт золотинка». Здесь, благодаря контексту, оборот *душа в пятках* не только и не столько реализует фразеологическое значение «испугаться», но и выражает состояние души поэта, доведённой до крайней степени подавленности, униженности, о превращении её в «хлам» (и это страшно!). Но даже в таком состоянии она не утратила своей «духовной» сущности, «золотинки». Такова мера гуманизма автора.

Благодаря подобным «опытам» с фразеологизмами, Остудин «индивидуализирует» «омертвевшие», стёршиеся обороты речи, придаёт поэтической речи «лица необщее выраженье». Всё это работает на обретение своего поэтического голоса, стиля, «лица», что вполне соответствует общей творческой установке автора на изображение «живого» человека.

В том же ключе воспринимаются мной и метафорические средства образности, которыми богаты стихи поэта. Метафоры Остудина, основанные чаще всего на сопряжении, казалось бы, изначально «несопряжимых» начал, свежи, неожиданны, неповторимо индивидуальны. Вот примеры лишь некоторых из них: «Дымят затяжкой натошак // сырые листья в куче»; «Накинув капюшон дождя, // Застыла осень на пороге»; «Я знаю, что в финале съем один // швейцарский сыр своих воспоминаний»; «Неужто даром мне луна живая, // огонь, что запасая пепел впрок, // в дрожащей пятерне своей сжимает // по-гамлетовски бедный котелок!». В случае со стихами Остудина примеры пластичных, ярких и ёмких метафор можно множить и множить. Особенно много у него сравнений: «И коршуны, как слепки жалобы – // свободны и едва видны»; «И яблоня – в пучках привоя, // солёная, как нота соль»; «В траве потрескивает засуха // погостом прошлогодних мух». Это только из одного стихотворения – «Июль». Своеобразное объяснение обилию метафор, сравнений – многочисленным «сопряжениям» автора находится в стихах: «Этот мир, населённый так густо, // что смешались любовь и капуста...». То есть всё в мире находится в теснейшей взаимосвязи, включено в общее течение жизни. Одно без другого непредставимо, а потому важно, наделено высшим смыслом. Эта мысль исподволь отражает всемерный гуманизм художника, его любовь к миру и человеку.

Живая пульсация души Остудина чувствуется в каждой клетке столь же *живых* стихов поэта. Их стиль характеризуется точным до деталей психологизмом письма, отражающего движения души автора:

Фланелевый вечер протёр фонари –
глазунью в проколотом звёздами небе.
И клёны смотрели, играя в «замри»,
как дышит варенье в посуде из меди.

Такую картинку сейчас угадал,
и – будто на зуб порошок анальгина:
замри, ностальгия по давним годам,
где дороги драки, крапива, ангина...

Эти строки служат лишней иллюстрацией выше замеченного мной приёма, свойственного Остудину: состояние души передаётся через физически ощутимую боль. Нелишним будет ещё один яркий пример к сказанному: «как вправляют вывихнутый палец, // сердце дёрнет и отпустит мне». Страдающее *так* сердце не может быть глухим ко всему живому!

Обострённое внимание к миру и к человеку формирует особенности поэтического зрения Остудина. Его отличает точность наблюдений, сметливость, обнажающая тайны и законы мироустройства и человеческой души: «если карп в пруду мельчает – // рыбаки впускают щуку!»; «люди сходятся друг с другом, // чтоб выйти из себя!»... В этих и подобных им «сметках», точных наблюдениях – весь налицо неповторимо своеобразный в своей индивидуальности поэтический почерк, стиль, облик поэта Алексея Остудина.

ПРОФИМОВ
Валерий Николаевич

* * *

Какой печальный, мрачный март, какой сырой
И мощный ветер пронизал нагие кроны!
Оголодавшие хрипят в ветвях вороны,
Дурные новости пророча вперебой.
И млечный день течёт куда-то, и в снегу
С улыбкой ласковою падаль обнажилась,
И время тянется, но жизнь остановилась,
И шестерни её застыли на бегу.
Хотя есть звук, но миром правит немота,
Оцепенение. И с самой верхней точки
Перемещенья не видны уже, и строчки
Не засоряют больше мозга и листа.
Там что-то дёргалось недавно, там текли,
Должно быть, чувства, ощущения... Не помню.
Всё остановлено, как бы каменоломню
Свою забыли камнетёсы и ушли.
Одна лишь видимость движенья. И ни жест,
Ни речь, ни внешность ничего не изменяют
По существу, так не однажды за меня тут
Легко сосчитан был другой, бродя окрест.
Устав, смотрю на этот мир со стороны,
Точнее, сверху, с равнодушием, но ниже
Неугомонный некий автор что-то пишет
Про это всё и видит творческие сны.
Ему без толку объяснять, что жизнь прошла
Заблаговременно и кончилась, и, бедный,
Он в ней не понял ничего, рисуя бледный
Пейзаж в испарине оконного стекла.

* * *

И нечего больше сказать в оправданье себе.
Одна неприязнь к бестолково прошедшему дню.

И дождь, копошась в жестяной волокнистой листве,
Придвинулся ближе, как будто подкрался, к огню.

Землёю раскисшею пахнет за окнами мрак.
И частые капли, сливаясь, бегут по стеклу.
Не то что бы страшно, а как-то безрадостно так.
К домашнему, душному не приобщиться теплу –

Маяча в пространстве меж этим и завтрашним днём,
В спокойной апатии, не оправдав ни одной
Наивной надежды, дыша гниловатым дождём,
Стоящим прозрачной, легко проходимой стеной,

Под белым плафоном, холодным рябым потолком,
Под ржавую кровлей, под небом кромешно-пустым,
Уже не жалея, не помня уже ни о ком,
Сквозя и редея, легчая сознаньем, как дым,

Сочась через сети причин, огибая углы
Событий и следствий, руины прощаний и встреч,
Сливаясь с серебряной пылью клубящейся мглы,
Сводя очертанья на нет, и рассудок, и речь,

Болезненной, жалкой любви паутину порвав,
Ни смысла, ни верности сердцем глухим не найдя,
Всего лишь невзрачной какой-нибудь, косвенной став
Деталью дождя.

* * *

Я знаю, чем кончится это,
Как ящер, ползущее лето.
Обгложет его до скелета
Циклический холод земной.
И будет не лучше, не хуже.
Я лишь констатирую вчуже,
Что лето окончится стужей,
Могучей костистой зимой.

Есть прелесть в банальных открытиях,
Повторах, бесцветных событиях,
В тоскливых ночных чаепитиях,
В бессмысленности бытия.
Я знаю, чем кончится вскоре

Мое безутешное горе,
Кто правым окажется в споре,
Чем жизнь завершится моя.

Но будет ли страшно – не знаю,
Когда я пойму – умираю,
Из этой игры выбываю,
Уже бестелесен, лечу –
Туда, к отдаленному свету,
К прощению или ответу,
Оставив сумятицу эту,
Рассудок задув, как свечу.

* * *

Однажды смутили беспечную душу мою...
Я жил по привычке и смысла ни в чём не искал.
Вдруг что-то случилось – я вижу, но не узнаю
Знакомого мира – как в сложной системе зеркал.

Под мартовским солнцем на искристо-белом снегу
Стою, словно идол, не знающий счёта часам,
И галочьих криков я слышать уже не могу,
И ноги озябли, и больно от света глазам.

За что я, скажите, бездольною дрожью плачу –
За ветер холодный, разреженный воздух небес,
За то, что в том ветре я голос расслышать хочу,
Без слов говорящий, за жалкую жажду чудес?

...За то, что я прожил, как прожил – других не умней,
Какмышь-землеройка, не смел показаться на свет,
За то, что мне в доме моём всё равно не теплей,
За то, что и сами вы знаете – выхода нет.

* * *

Тенетами дождь обволокло летаргический мир –
Все взаимосвязи предметов, явлений причинность.
И воздуха нет – только пар и косящий пунктир,
Мерцающих капель живых трудовая повинность.

По крышам осклизлым, по брёвнам стучат коготки.
Вонзается в сердце дробящийся звук и дрожащий.
Но все силуэты и чувства так лживо легки,
Что улица тёмная кажется ненастоящей.

Гниющей листвы золотистый червивый ковёр
Скрывает шагов разнобой, как греховную тайну.
И ноющий где-то во мгле переулков мотор
Всё глуше звучит, одиноко катясь на окраину.

Не город, а морок, не жизнь, а навязчивый бред,
Не время, а глушь, немота сговорившихся пауз.
Мигает фонарь, но сдаётся и сходит на нет,
Как прячет в песок пучеглазую голову страус.

Не видеть, не слышать, из времени выпать совсем,
Прорваться сквозь сон, как сквозь координатную сетку,
Минуя силки обстоятельств, ловушки систем,
Задев на прощанье крылом оголённую ветку.

* * *

Какая-то тоска жила во мне всегда
И лишь по временам слегка ослабевала...
Была ль тому виной грозящая беда,
Несбыточность любви, потребность идеала?..

Не знаю до сих пор причину детских слёз.
И вспомнить не могу, что давнею порою
Мне не давало спать – собачий лай в мороз,
Дождь или старый сад, колышущий листвою?..

Когда по потолку метался мотылёк,
Или сверчок твердил бесхитростную фразу,
Я до утра заснуть от жалости не мог –
К ним или же к себе, ко всем живущим сразу?..

Что вызывало боль, какая мысль рвалась
В минуты той тоски в сознание достучаться?..
Пойми её тогда, другим бы я сейчас
Был – ей бы не пришлось всё время возвращаться.

То ночью наплывёт, то подкрадется днём –
То тяжестью в груди, то странной пустотою...

Как я о ней забыть хотел бы на твоём,
Любимая, плече, прильнув к нему щекою!

Чужие города, скоротеченье лет,
Вокзалы, поезда, ревущие во мраке...
А мне, кроме тебя, другой надежды нет,
Как отыскавшей кров стареющей собаке.

Ночная прогулка

Деревня огни погасила,
Уйдя в первобытные сны.
Незримо сгущается сила
Звенящей в ушах тишины.

Серебряный, лунный, щербатый,
Сияет над крышами шар.
Слоистый и голубоватый
Над пастбищем стелется пар.

Какая простая свобода –
Брести от жилья наугад
Под синим шатром небосвода,
Где вечные звёзды горят,

Где, криками полня окрестность,
Совиные тени снуют...
Наверное, так бестелесность
При жизни ещё познают...

Брести, как в раю невозможном,
Не веря и веря себе,
В сиротстве, в восторге тревожном,
Навстречу случайной судьбе.

Брести, переполнившись страхом,
По пустошам, мимо теней,
Без сна над растительным прахом
Палящих в печали своей.

Сквозь призрачный мир темноликий,
Дорогу назад потеряв,

Сквозь трепет и шелест и блики,
По морю бескрайнему трав.

* * *

Когда твоя жизнь значит меньше, чем значит –
Ни славы, ни власти, ни денег не надо...
О чём в это время душа твоя плачет
Средь дыма и гула, средь грома и чада,
В слепой толчее человеческого стада?

Ей смысла – для всех очевидного – мало,
Скучна ей привычка, тесна ей квартира.
Наверное, помнит, как прежде сновала
По лёгким невидимым струнам эфира
Во все уголки необъятного мира.

Ты веришь, однажды откроется дверца?
Ты знаешь, всё может еще измениться?
Из клетки грудной, из горячего сердца
Порхнет на свободу, раба и должница,
И вечноживущего неба частица.

Не кайся, не майся в напрасной обиде,
Пусть потом пропитана смертным рубаха...
Зачем же летунье свободной, сильфиде
Сомнения приговорённого праха,
Землистая маска животного страха?

* * *

Жуки Скрипуны и жуки Носороги,
Жуки Усачи и Олени,
Деревьев и трав уязвлённые боги,
Былого ущербные тени.

Могильщики, Пильщики и Скарабеи,
Несметны вы, но незаметны.
Вам ближе, роднее дриады и феи,
Языческий мир многоцветный.

Улитки, кузнечики, бабочки, пчёлы.
О, сколько вас было в июле!

Молитвы твердили жрецы Богомолы,
А к осени разом уснули.

Сойду ли однажды в ваш мир потаённый,
Безличностный, но не безликий,
Где стебли цветов встанут, словно колонны,
Поднимутся травы, как пики.

Где бабочка сядет, мерцая очками,
И звать её будут Ванесса,
Где я подружусь, словно брат, со сверчками
В мифическом царстве Гадеса.

Где крылья расправив, как Бражник отважный,
Взлечу я в нездешнее небо,
Где боги откроют секрет, что не важно,
Я был вообще или не был.

* * *

За что себя жалеть?.. За то, что ты один
И океан небес в неомрачённом блеске
Навис над чернотой полуночных равнин,
Парящих в пустоте, а поделиться не с кем.

Пройдёт и сам восторг, с которым ты глядишь
На складчатость земли, в распахнутые дали...
Уже не воссоздать потом такую тишь,
И запахи травы, и остроту печали.

И кажется, что жизнь проходит стороной,
Той мерой полноты тебя не одаряя,
Которая и есть весь смысл её простой,
Подарок божества и обещанье рая.

А время, как гравёр, царапает резцом
Упадку письмена и знаки расставанья.
И ты стоишь впотьмах с потерянным лицом
Под сонмищами звёзд, один средь Мирозданья.

* * *

Как восхитительно и сладко пахнет клевер
На склоне лета! Гул последних пчёл
Тревожен, обречён. Угрюмый север
Уж траурную музыку завёл.

Я лёг на землю и обнял её руками,
Лицом в траву упал. А в небе надо мной
Такая синева меж облаками
Была, такой царил покой!

Перевернувшись на спину, я замер.
Меня древесный шёпот окружал.
Я со Вселенной встретился глазами,
Я стал землей, покуда так лежал.

Мне захотелось петь, и я запел про поле,
Про небо, про леса и про моря,
Доверившись как будто высшей воле,
Как будто бы я пел и жил не зря.

Ну что ж, пусть время вновь перевернёт страницу,
И радость кончится, отгородясь стеной,
Быть может, ангелов внимательные лица,
Пока я пел, склонялись надо мной.

* * *

Время наступит – я сгину
В нетях, но сниться я стану
Младшему сыну Максиму,
Старшему сыну Роману.

Вот и отец мой приходит
В сны мои сам то и дело,
Взгляд почему-то отводит,
Держится как-то несмело.

Только раскрою объятья –
Он отступает, мерцая.
Не разгадать мне заклатья –
Не понимаю отца я!

– Что там, за жизнью, снаружи,
За приоткрытою дверью?
Ну, говори, ну кому же,
Как не тебе я поверю?

– Может, ты чем-то обижен?..
Хмурится, не отвечает.
Чуть подойду я поближе,
Вовсе, как облако, тает.

... Правда ль похожа на драму,
Вечность ли невыносима?
Что я отвечу Роману,
Чем помогу я Максиму?

* * *

Ушедшие в царство видений
Не знают ни страха, ни страсти,
Не бьются в тенетах сомнений,
Не жаждут ни денег, ни власти.

Как будто бы в новую местность,
В деталях её познавая,
Вступают в самую неизвестность,
В простор одичалый без края.

А там ювенильное море
Недовоплощённых явлений,
И счастье похоже на горе,
И мечутся смутные тени.

И чья-то холодная воля
По эллипсам гонит светила,
И гнётся незримое поле,
И космос молчит, как могила.

Сжимается в точку сознание,
Куда-то летит ошалело,
И тёмная ночь Мироздания
Глощает безродное тело.

Что тело – пустая морока!
Привязанность им не знакома...

Уже не вернётся дорога
К порогу родимого дома.

* * *

Нет счастья на земле для всех,
Нет счастья на земле.
Но есть крахмально-белый снег
И фонари во мгле.
И есть святая чистота
Нагрывшей зимы,
Как будто светлая черта
Перед порогом тьмы.
И память воспроизведёт –
Ты только позови –
За эпизодом эпизод
Немеркнувшей любви.
А мне так с детством повезло –
Сквозь наслонья лет
Оттуда тянется тепло,
Таинственность и свет.
И я хотел бы передать
Другим, пока живой,
Словами эту благодать,
Восторг наивный свой.
...Не будет перечня заслуг,
Обид или грехов.
Как птица – вылетел из рук,
Мелькнул – и был таков.

Маятник отчаяния и надежды

В работе, посвящённой «Казанской тетради» Николая Беляева, Валерий Трофимов признаётся, что «не увлечён ни злободневностью, ни стремлением к включению в стихи узнаваемых деталей, то есть всем тем, что археологи назовут потом культурным слоем и выставят на обозрение зевак в музеях». Между тем, читая стихи Трофимова, лишней раз убеждаешься в «вечной» злободневности поэзии, всегда включённой в общий поток времени и являющейся её выражением. Правда, применительно к поэзии нужно вести речь о злободневности высшего порядка – в разрезе вечности.

Передо мной стихи Трофимова 90-х годов прошлого – начала нынешнего столетия – одной из переломных и, безусловно, самых мрачных эпох отечественной истории. Произведения поэта – лучшие тому свидетельства. В них царит столь же мрачный, неприятный пейзаж. Для читателя, воспитанного на классических образцах пейзажной лирики, трофимовские картины природы будут, по меньшей мере, непривычными, не по нутру:

Лес угасает, как живое существо.
Дрожат в агонии костлявые кусты...
И ни величия в том нет, ни красоты,
А только времени и смерти торжество...

Даже весна, в изображениях русских лириков окрашенная в светлые, праздничные тона, у Трофимова совершенно иная и по краскам, и по настроению: «Какой печальный, мрачный март, какой сырой // И мощный ветер пронизал нагие кроны! // Оголодавшие хрипят в ветвях вороны, // Дурные новости пророча в перебой». А в снегу «с улыбкой ласковою падаль обнажилась». Да и осень, пусть «унылая пора», но «очей очарованье», которая у поэтов-классиков неизменно связана с метафорическими образами золотой листвы, серебряной паутины, со свежестью первых заморозков, инея, у Трофимова вызывает строку о «гниющей листвы золотистом червивом ковре».

Неуютностью, усталостью, подавленностью отмечен целый ряд подобных по образности и настроению стихов поэта. Полные скуки, тоски, возводимой автором чуть ли не в свойство характера («Какая-то тоска жила во мне всегда...»), они проникнуты, казалось бы, беспросветной безысходностью. Где-то этот мотив находит воплощение в ритмической организации текста, как, например, в следующей строфе, характеризующейся изводящим душу «затяжным» ожиданием рифмы:

Я знаю, чем кончится это,
Как ящер, ползущее лето.
Обгложет его до скелета
Циклический холод земной.
И будет не лучше, не хуже.

Я лишь констатирую вчуже,
Что лето окончится стужей,
Могучей костистой зимой...

Крайняя степень безысходности находит своё выражение в стихотворении «Однажды смутили беспечную душу мою...», которое поражает своим «лобовым» финалом, не оставляющим ни малейшей возможности на иное решение: «выхода нет». Круг замкнут. Это круг одиночества, обусловленного пониманием вечной цикличности жизни, «рассчитанной на медленное умирание».

Лирического героя Трофимова отличает постоянное ощущение себя на краю. Мотив смерти – один из ключевых в его поэзии, и дан он, как и пейзажи автора, с неожиданной стороны, в непривычном ракурсе. Пропадать оказывается сладко («Не сладко ль тебе, не тепло ль пропадать, дурак?...»); и в «бессмысленности бытия» «есть прелесть»! Не этим ли объясняется «наплевательское» (как жизни «плевать, кто ты есть») отношение героя Трофимова к окружающей действительности? И не «злободневен» ли поэт, подобным отношением к жизни, по сути, выражающий одну из главных черт характера народа, которому принадлежит? Разве не свойственно нам даже на самом краю гибели ничего не предпринять ради своего спасения? Наоборот, мы лишь усугубляем своё положение. По-иному, например, нельзя воспринимать массовый алкоголизм в России, обретший масштабы национальной трагедии.

Смерть обособляет человека, отчуждает от времени, обрекая на сиротство и одиночество. В стихах Трофимова чувство одиночества столь всепроникающе, что передаётся даже на «вещный» мир. Например, в стихотворении «Тенетами дождь обволоку летаргический мир...» возникает образ «ноющего где-то во мгле переулков мотора», который «всё глуше звучит, одиноко катясь на окраину». Одиночество же человека космично: он «впотьмах с потерянными лицом / Под сонмищами звёзд, один среди Мирозданья». Такое состояние наполняет душу терзающими её смутными ощущениями, тревогой, чувством «беспокойства без названия».

«Душа томится в заточении...», – пишет поэт, и этим, видимо, обусловлены непрекращающиеся попытки разобраться в себе, в причинах душевной смуты. Думается, на этом пути Трофимову вполне сгодились знания в области психологии. Как бы там ни было, но его поэтический стиль отличается тонкостью психологических наблюдений, нюансировкой душевных движений. Это позволяет автору выйти в своих стихах на глубокие психологически-философские обобщения, как, например, в стихотворении «Как легко согласиться, что ты неудачлив во всем и позорно слаб...»: «Будь себе одному благодарен за еще одно измерение, за полуночный мир, // Где ты неуязвим для реальности с её грубой правдой и будничною тоскою. // Жизнь дневная похожа порой на зияние, на пустоту, пунктир – // В промежутках меж собственно жизнью, бесплотною, непредсказуемою, ночью».

Для Трофимова характерна мысль об «обычности» человека («Ты такой не первый, не последний»), как, впрочем, «обычно» и мироздание («путь

сквозь ночь невыносимо прост, // Обычен»). Но то, что происходит с отдельным, «обычным» человеком, сродни «драме мировой». В этом Трофимов, на мой взгляд, близок к Бродскому. Унаследовал поэт от своего старшего собрата и одну из ключевых свойств его поэтики: на материале ничем не примечательной, маломальской детали решать глобальные, философские проблемы:

На снежном поле потолка
Какая-то чернеет точка,
Щербинка – вроде человечка...
Из-за него в душе тоска.

Куда он по полю бредёт,
По грудь в сугробах увязая?
Какая надобность пустая
Ему покоя не даёт?

Он будто тянется душой
К неведомой, далекой цели.
А сам уж виден еле-еле,
Упрямый и всему чужой.

Как постарел за много лет
Седой пустыни житель мелкий!
И скоро уж метель побелки
Совсем сотрёт его на нет...

Прощай, убогий неуют!
Всё перекрасят, поменяют.
И без него и без меня тут
Другую жизнью заживут.

Как видим, при всей конкретности рисунка – «бытийность», философичность проблематики: из какой-то «точки», «щербинки» на потолке ненавязчиво вырастают думы о жизни и смерти. Вот этой самой «бытийностью», обращённостью к «вечным» вопросам бытия и человеческого существования Трофимов родственен не только Бродскому, но и, при всей своей «неклассичности», вообще к классической поэзии XIX-XX веков. Уж если я указал на это, то отмечу и другие черты поэтики художника, сближающие её с произведениями отечественной и мировой классики. К числу таковых можно отнести употребление «высокой», традиционно поэтической лексики: например, *струны эфира, летунья, сильфида* и др. в стихотворении «Когда твоя жизнь значит меньше, чем значит...» или «сложные» определения типа *вечножи-*

вущий оттуда же или *вялотекущий, быстrobeгущий* из стихотворения «Открылось мне, что ты в моей душе поныне...»^{*}.

Глубокая укоренённость Трофимова в традиции прослеживается и на образном уровне. В своих стихах поэт обращается к образам, давно ставшим традиционно поэтическими, – к образам песка, карнавала, мотылька, облака, ветра, звезды, реки, мифологическим образам и т. д. Благодаря связи и соответственности с предшествующей поэтической культурой, они обретают у поэта характер символов. Это «укрупняет» изображаемое, неизменно выводит на «высокий», философский разговор о бытийных категориях жизни и смерти, смысле существования, тайнах Бытия. С другой стороны – так поэтом преодолевается обыденность, её безысходность; так – высоким слогом, отражающим высокие помыслы, – оправдывается собственное существование. Человек возвращается в «вечность», преодолевает свою отчуждённость от времени, возвращает утраченный было высокий смысл жизни, избегает низведения себя до уровня животного состояния, «борьбы за выживание», равной «смертному греху».

Итак, на краю отчаяния-мрака возгорается свет надежды. Пусть многие стихи Трофимова – навязчиво об одном и том же: о тоске одиноко страдающего сердца. Но – нигде не повторяясь, как у того же Бродского, из ничего, источая по капле своё состояние, чувство, душу. Всё об одном и том же, но каждый раз по-новому, в неожиданном ракурсе, обнажающем боль живой души, к которой привыкнуть и с которой смириться невозможно. Вот это и есть – основа поэзии: поэтического творчества вообще и лирики Трофимова в частности. Так, каждый раз заново, происходит рождение мира, великий акт творчества, который сродни акту Божьего творения. Это процесс, очищающий душу, преображающий человека, дарующий – пусть на мгновение! – ощущение чуда жизни, облегчение, «проблески наитья». Даже на последнем краю поэта спасает вера в жизнь, в её светлые начала, спасительные силы. В их утверждении Трофимов тоже продолжает гуманистические традиции классической литературы. Повторю некогда высказанную мной мысль: истинная поэзия, будь она хоть трижды о смерти, всегда оставляет выходы в новую жизнь!

С поиском светлых начал жизни связан у Трофимова «сквозной» мотив одушевления природы. Его здесь можно приравнять к поиску «живой», в значении *отзывчивой, близкой, способной понять, сострадать*, души. Таков излюбленный поэтом образ дождя. В стихотворении «И нечего больше сказать в оправданье себе...» оксюморонное сочетание дождя с огнём как традиционным символом домашнего очага рождает чувство, близкое тому, что ощущаешь при общении с родным существом или хотя бы в его присутствии: «дождь, копошась в жестяной волокнистой листве, // Придвинулся ближе, как будто подкрался, к огню». Дождь становится мощной преобразующей, очистительной силой:

^{*} Употребление «сложных» определений характерно, например, для стиля гомеровского эпоса.

Листву, траву, в предзимней нищете,
Деревья в неприглядной наготе,
Безумный мир, галдящий вразнобой,
Скиталец-дождь, преобрази собой.

...покуда живы мы, давай
Накрапывай, шурши, не умолкай.

Мне как-то легче от того, что ты
Летишь сюда с угрюмой высоты,
Рассыпавшись на тысячи частиц,
Летишь ко всем, не разбирая лиц,
Не разбирая – куст иль человек...
Дождь, дождь, жизнь...

Дождь в стихах Трофимова предстаёт как изначальная субстанция бытия, «аккумулирующая», растворяющая в себе все «причины и следствия» жизни: «Тенетами дождь обволок летаргический мир – // Все взаимосвязи предметов, явлений причинность...». И человек становится ничем иным, как «деталью дождя». Так реализуется пафос растворения в мире, вызывая в памяти известную тютчевскую формулу: «Всё во мне, и я во всём!». Мотивирована же мысль о сопричастности бытию остро осознаваемой необходимостью сохранения себя, утверждения в жизни. В конечном счёте, это всё то же «самостоянье», о котором писал Пушкин. Трофимов приходит к очень важной, выстраданной им мысли: быть, ощущать себя *частью* мироздания – в этом *счастье!* С этой точки зрения особенно показательное стихотворение 2001 года «Ночная прогулка», выражающее чувство полной слиянности с природой, мирозданием, растворения себя в ней до абсолютной утраты ощущения своей телесности, брэнности. Меня как бы уже и нет, да и «не важно, // Я был вообще или не был». Слияние настолько полно, что, кажется, даже утрачивается ощущение пространства и времени – происходит приобщение к вечности.

Стихи Трофимова лишней раз убеждают в банальной, на первый взгляд, мысли, что читать *настоящую* поэзию нужно. Даже в беспросветном мраке жизни она помогает человеку выстоять, возвращает его к «вечным» истинам, к вере, к любви – при всём ходе маятника судьбы: от надежды к отчаянию, от отчаяния к надежде. В стремлении к идеалу, в высокой цели утверждения человека – в этом, по Трофимову, смысл поэтического творчества. Так понятное, оно приносит ему умиротворение – у-мира-творение, когда и осень не вызывает мрачных мыслей:

Как восхитительно и сладко пахнет клевер
На склоне лета!
...в небе надо мной
Такая синева меж облаками
Была, такой царил покой!

Перевернувшись на спину, я замер.
Меня древесный шепот окружал.
Я со Вселенной встретился глазами,
Я стал землёй, покуда так лежал.

Мне захотелось петь, и я запел про поле,
Про небо, про леса и про моря,
Доверившись как будто высшей воле,
Как будто бы я пел и жил не зря...

Когда даже смерть – и та воспринимается по-другому, дана совсем в иной тональности: «Как птица – вылетел из рук, // Мелькнул – и был таков».

ЛИЦОМ К ЛИЦУ ЛИЦА НЕ УВИДАТЬ...

Осенняя Казань сияет золотыми бликами широколистных клёнов и ржавыми пятнами облетающих лип.

Уютный подвальчик в музее А. М. Горького, где регулярно собираются казанские поэты, в основном молодые и начинающие. В числе последних немало солидных дам предпенсионного и пенсионного возраста. Читают стихи, спорят до одурения, бывает, и «расслабляются».

Это, пожалуй, единственное место во всей Казани, где постоянно звучат имена Пастернака, Мандельштама, Ахматовой, Цветаевой, Хлебникова, других русских поэтов. И почти никогда – «деньги», «баксы», «мани», «сум».

В наш век стало общим местом жаловаться на меркантильность нынешней молодёжи, на бездуховность и прагматичность постсоветской эпохи. Но ни духовность, ни поэзия, ни высокие идеалы никуда не делись. В такие дни они обитают в этом обычно пустынном, забытом Богом подвальчике.

Звучат стихи... Пусть порою откровенно графоманские... Пусть с жуткими подвываниями. Но они не просто звучат – их слушают, обсуждают, их принимают всерьёз. Обычно каждый приносит сюда только что написанные поэтические строки или новые публикации. А иногда – впрочем, не очень часто – новые стихотворные сборники.

Каждая такая книга в жизни литературного объединения – событие. Хотя бы для самого автора и его близких. О ней мечтают бессонными ночами, её вынашивают, как младенца в утробе. И не девять месяцев, а порою всю жизнь. А когда она, наконец, выйдет, носятся с ней, как с писаной торбой. С наслаждением вдыхают запах типографской краски, любовно поглаживают бумажную обложку (на твёрдый переплёт у большинства не хватает либо денег, либо признания). И свято верят, что их сокровенное слово перевернёт мир. В крайнем случае – внесёт свой вклад в сокровищницу если не мировой, то хотя бы провинциальной поэзии...

Вот и на этот раз новую книжку стихов «В ладу с размирьем» принесла Лилия Газизова – нарядная, в широкополой старомодной (или слишком модной) шляпе, красивая, уверенная в себе и с такой обворожительной улыбкой, что многие мужчины восхищённо пялятся на неё, а женщины хмуро отводят взгляд. Она читает стихи из только что законченного цикла «Буржуиночка», явно эпатируя кое-кого из собратьев по перу:

Я слишком буржуазна для поэта –
Я слишком хорошо всегда одета.

Желательно быть нервной, истеричной,
С запутанной донельзя жизнью личной.

Я слишком уязвима для поэта,
Комфортом укрываюсь, словно пледом.

А надо быть беспомощной, смешной,
Растерянной, нелепой и одной.

Так лучше, что ли?

Одни встречают её стихи аплодисментами, другие отмалчиваются и отводят глаза.

Вслед за нею поднимается Наилия Ахунова. У неё шляпка чёрная и поля гораздо меньше. Как и её коротенькие стихи в духе японских хокку.

Александра Кашина не может подняться. Она прикована к инвалидной коляске, но в стихах она воспаряет к небу:

Всё чаще хочется клубочком
Свернуться на коленях тёплых,
Когда вся жизнь из многоточий,
И веришь сказкам и актёрам.

Быть снова маленькой и глупой,
И от души лишь смех и слёзы,
Когда вся жизнь сиюминутна,
И веришь в Дедушку Мороза.

Читает Кашина несколько приглушённо, негромко. Но слова её проникают в душу сами собой, без усилий. Невольно вспоминаются слова Рустема Кутуя: «Кашина сообщила поэтическому языку раскованность, сбивчивость, прерывистость дыхания и свободу вздоха, вскрика».

В этот день тон в подвальчике задают поэтессы. Всё это люди, для которых поэзия – в центре мира, погрязшего в мелочных делах и расчётах. Да, она плохо сочетается с его бранными заботами. Вернее, совсем не сочетается. Но для них это не так уж и важно. Если она, высокая поэзия, нашла себе место в душах авторов, то наверняка ей найдётся местечко и в душах читателей. Пусть немногих, но зато самых чутких, самых интеллектуальных.

Да, эта подвальная поэзия занимает в огромном мире очень скромное пространство. Но ведь это особый мир – мир высокой духовности, чистых идеалов, бескорыстной веры в добро и справедливость. Мир чарующих звуков и мелодий, засасывающий, как наркотик.

Сейчас мы встали на капиталистические рельсы. Во всём стараемся подражать Западу. Но стоит ли так обезьянничать? Я несколько раз бывал в Германии, общался со многими немецкими писателями. И с удивлением убедился, что поэзия там занимает не просто скромное, а очень незначительное место в общественной жизни. Даже известные, признанные поэты издают книги преимущественно за свой счёт, причём – мизерными тиражами: 300-500 экземпляров. И те зачастую не распродаются, а раздариваются. Поэзия там считается личным делом каждого. Хочешь писать – пиши. Только ни особого внимания, ни денег не требуй.

У нас же традиции несколько иные. И аудитория намного шире. И пишущих стихи заметно больше. Пока жива поэзия – жива духовность.

Возникает сакраментальный вопрос: сколько в Казани поэтов?

В подвальчик в музее Горького более или менее регулярно ходит человек пятьдесят. Русскоязычных поэтов, принятых в члены Союза писателей Татарстана, примерно вдвое меньше. Но это лишь верхушка айсберга.

Социологические опросы показывают, что примерно каждый десятый хотя бы несколько раз в жизни пробовал сочинять стихи. Нетрудно прикинуть, что на миллионную Казань приходится более ста тысяч пишущих рифмованные строчки. Те же опросы свидетельствуют, что активнее всего сочинительством занимаются либо подростки и «зелёная» молодёжь, либо пенсионеры. Людям среднего возраста, занятым житейскими заботами и зарабатыванием денег, просто некогда заниматься подобной «ерундой».

Но, как любого, мурлыкающего себе под нос популярную мелодию, не назовёшь эстрадным или оперным певцом, так и всякого, сочинившего рифмованную муть по случаю Нового года или дня рождения жены, не назовёшь поэтом.

Где же критерий? Обычно смотрят на публикации и изданные книги. Но ведь среди таких тоже полно графоманов. Тем более сейчас, когда каждый, имеющий в кармане лишний десяток тысяч рублей или богатого спонсора, может издать собственную книжку. Без всяких строгих редакторов и придирчивых рецензентов.

Споры на эту тему возникают чуть ли на каждом заседании литобъединения. Чаще всего приходят к выводу, что поэтом можно назвать лишь того, кто сказал в поэзии новое слово, внёс свой вклад в сокровищницу литературы. Но и тут критерии весьма расплывчаты и субъективны. Так, составляя антологию русскоязычной казанской поэзии «Как время катится в Казани золотое...», Лилия Газизова сочла возможным поместить в книгу стихи около сотни авторов. Можно спорить о том, все ли они являются истинными поэтами. Но то, что в этом объёмистом томе то и дело посвёркивают золотые крупинки, не подлежит сомнению.

Гораздо строже подошёл к составлению своей собственной «Казанской антологии» писатель Владимир Лавришко. По его мнению, в Казани с незапамятных времён до наших дней было всего девять настоящих поэтов. Причём половина из них – классики: Гавриил Державин, Евгений Баратынский, Велимир Хлебников и Николай Заболоцкий. Таким образом, на поэзию нашего времени остаётся всего пять имён: Леонид Топчий, Геннадий Капранов, Руслан Галимов, Владимир Роцектаев и Юрий Макаров. Как видим, в число избранных у Лавришко не попали даже такие общепризнанные мэтры, как Рустем Кутуй и Сергей Малышев, не говоря уж о Лилии Газизовой или Ольге Левадной.

Свой субъективный взгляд на казанскую поэзию и у автора настоящей книги Рамиля Сарчина. Особенность его подхода заключается в том, что это – взгляд со стороны. Недавно переехав в наш город из Ульяновска, он, будучи завзятым любителем и знатоком поэзии, перечитал массу поэтических

книг и остановил свой выбор на тринадцати самых близких ему по духу и самых талантливых поэтах. По его мнению, это Тимур Алдошин, Вячеслав Баширов, Николай Беляев, Елена Бурундуковская, Равиль Бухараев, Лилия Газизова, Геннадий Капранов, Алёна Каримова, Роза Кожевникова, Рустем Кутуй, Сергей Малышев, Алексей Остудин и Валерий Трофимов. Четверых из них уже нет в живых, некоторые покинули нашу республику. С Вл. Лавришко автор пересёкся только в одном имени – Геннадия Капранова. Это лишний раз доказывает, что при оценке поэтических явлений налёта субъективности не избежать.

Сказать, что именно он, Сарчин, открыл этих поэтов, нельзя. Почти о каждом из них есть уже своя литература. Иногда, как в случае с Рустемом Кутуем, насчитывающая до сотни рецензий, отзывов и критических статей. Но анализ Сарчина отличается исключительным профессионализмом, глубиной и свежестью взгляда. Мы, коллеги по перу, часто судим о поэте по каким-то чисто человеческим качествам. Один отличается несносным характером, другой дружит с Бахусом, третья одержима чрезмерным тщеславием... Наш взгляд давно «замылится», мы многого не замечаем. Как сказал поэт, «лицом к лицу лица не увидать, большое видится на расстоянии».

Так вот, автор этой книги смотрит на казанскую поэзию с некоторого расстояния. Ему нет дела до человеческих слабостей того или иного поэта. Он судит об их творчестве и только о творчестве. Причём, судит убедительно, доходчиво и увлекательно. Чувствуешь, что ему самому доставляет удовольствие порассуждать о поэзии, разобрать «по косточкам» то или иное поэтическое произведение, проникнуть в тайну колдовского слова. И не беда, что тайна эта нередко ускользает даже от самого вдумчивого анализа. На то это и поэзия...

Сарчину нет дела до плохих поэтов. Они ему просто неинтересны. А о тех, о ком он пишет, он пишет с любовью и приязнью, избегая по возможности скучного наукообразия, того, что называют литературоведческим занудством.

До сих пор у нас ещё не было такого рода обобщающей книги о русской поэзии республики. Это – первый опыт такого рода. И, надеюсь, не последний...

Рафаэль Мустафин

Биографические справки

Алдошин Тимур Леонидович

Родился в 1961 году в Казани. Учился в Казанском авиационном институте. Публиковался в республиканской прессе, в журналах «Новая юность», «Октябрь». Участник коллективного сборника стихов «Лица» (Казань, 2000). Автор сборника стихотворений «Те и эти светлы» (2003). С 2002 года ведёт литературную студию «ARS Poetica» в Казанском государственном (ныне – Поволжском федеральном) университете. Публиковался в казанских журналах «Идель», «Квадратное колесо», «Айда», альманахах «Лица» и «Казанский альманах», в московских журналах «Новая юность», «Октябрь», «Дружба народов», а также в журнале «Дирижабль» (Нижний Новгород), альманахе «Аргамак-Татарстан» (Набережные Челны). Стихотворения помещены в антологию «Нестолничная Литература. Поэзия и проза регионов России» (Москва, 2001). Лауреат Литературной премии им. А. М. Горького (2005).

Баширов Вячеслав Аркадьевич (настоящая фамилия – Вайндинер)

Родился в 1950 году. Окончил механико-математический факультет Казанского государственного университета и Высшие литературные курсы при Литературном институте им. М. Горького. Член Союза писателей СССР. В 1992 эмигрировал в Израиль, работал в десятке разных стран – от Гонконга до Люксембурга, сейчас – программист в Тель-Авиве. Автор книг стихов «Время и полдень» (Казань, 1981), «Река» (Казань, 1985), «Целый день» (Казань, 1989), «Остров» (в сборнике «Ночной разговор»; Казань, 1993), «Русская баня» (Иерусалим, 1995). Были также книжки стихов для детей, изданные в Казани и в Москве, и книги переводов (в основном с татарского). Публиковался в журналах «Юность», «Новый мир», «Дружба народов», «Октябрь», «22» (Иерусалим) и др. По признанию поэта, сейчас почти ничего не пишет.

Беляев Николай Николаевич

Родился в 1937 году в Ярославле, в семье совслужащих. Окончил геофак Казанского государственного университета. В 1967 году выпустил свой первый сборник стихов «Голоса расстояний». Участвовал во Всесоюзном семинаре молодых писателей республик Поволжья. В 1969-м издал вторую книгу стихов «Ветер». После этого сборника был принят в Союз писателей СССР. Много переводил, в основном – татарскую поэзию: Дэрдменда, Сибгата Хакима, Хасана Туфана, отдельные стихи Хади Такташа и поэтов-

современников – Ильдара Юзеева, Равиля Файзуллина и других. В 1973-1975 гг. учился на Высших литературных курсах при Литинституте им. А. М. Горького, в семинаре А. П. Межирова. За время учёбы перевёл книгу стихов талантливой латышской поэтессы Велты Калтыни «Говорю о земной любви», которую в 1980-м году выпустило в свет издательство «Советский писатель».

С момента принятия в Союз писателей начал работать с начинающими авторами, основав в КГУ литературную студию «ARS poetica». Позднее – несколько лет работал литконсультантом по русской литературе в Союзе писателей Татарии. К тому времени издал в Казани итоговый (из шести предыдущих книг стихов) сборник стихов «Лирика» (1987), а в 1991-м – сборник «Воз воспоминаний», куда вошли стихи, долгое время не проходившие сквозь бдительные редакторские заслоны.

В 1992 году переехал на постоянное жительство в село Ворша Владимирской области. Здесь, отказавшись от городской суеты, закончил документальную книгу о художнике Алексее Аникеенко и десяток «виртуальных» книг стихов, которые частично уже изданы.

Бурундуковская Елена Викторовна

Родилась в 1960 году в Казани. Начав писать стихи в детстве, к окончанию школы имела в своем творческом багаже уже десятки стихотворений, с которыми и пришла впервые в сентябре 1978 года в литературную студию «ARS poetica» под руководством известного казанского поэта Николая Беляева. С этого же года начала печататься в республиканской и всесоюзной периодической печати. В 1979 году в Москве, в издательстве "Молодая гвардия", выходит сборник молодых авторов "Ранний рассвет" под редакцией Евгения Евтушенко, где опубликованы два стихотворения Елены Бурундуковской. В 1983 году подготовила рукопись первого сборника своих стихов, которую вынесла на обсуждение русской секции СП. Позднее доработанная рукопись была представлена в "Таткнигоиздат", где в сокращенном варианте вышла в свет в коллективном сборнике молодых поэтов Татарстана "Горизонт" (1988). С 1989 года поэтесса сотрудничает с американским поэтом Джоном Грэйсеном Брауном, переводя его стихи, в частности, поэму "Симфония о России", по мотивам которой известный казанский композитор Б. Трубин написал симфоническое произведение, не раз с успехом исполнявшееся в Казани. Стихи Елены Бурундуковской в переводе Дж. Брауна публикуются в журнале университета штата Вирджиния. В 1992 году увидела свет первая книга поэтессы "Личные местоимения" (в серии "Библиотека журнала "Казань"). В 2004 году – вторая книга "Учебник жизни собственной пишу...". Стихи автора публиковались в журналах "Студенческий меридиан", "Смена", "День и ночь", "Казань", "Идель", "Татарстан".

Член Союза писателей Республики Татарстан.

Бухараев Равиль Раисович

Родился в 1951 году в Казани. Окончил механико-математический факультет Казанского государственного университета (1974) и аспирантуру МГУ по кибернетике. С начала 1990-х живет в Англии. Работает продюсером на русской службе Би-би-си.

Пишет стихи на русском, татарском, английском и венгерском языках. Печатается с 1969 года. Автор книг стихотворений и поэм «Яблоко, привязанное к ветке» (Казань, 1977), «Редкий дождь» (М., 1980), «Знак Август» (Казань, 1981), «Время цветов» (Казань 1985), «Комментарии к любви» (М., 1986), «Снежный журавль» (М., 1986), «Вокруг Тукая (Комментарии к любви)» (Казань, 1989), «Трезвые пиры» (М., 1990), «Искание» (Лондон, 1993), «Казань. Зачарованная столица» (Лондон, 1994) и др. Печатает кукольные пьесы в стихах: «Звездочка-Ромашка» (Казань, 1985), «Волшебные сны Апуша» (Казань, 1986). Опубликовал прозу: «Дорога Бог знает куда. Книга для брата» (СПб, 1999). Выпустил книги на английском языке «Азан. Исламская поэзия поволжских татар» (Лондон, 1991), «Ислам в России. Четыре времени года. Историческая монография» (Лондон, 1998), «Историческая антология татарской поэзии» (Лондон, 1998). Переводил татарских поэтов, печатался как критик.

Произведения Равиля Бухараева публиковались в журналах «Новый Мир», «Дружба Народов», «Знамя», «Звезда», «Арион», «Иностранная литература» и др.

Член СП СССР (1977), СП Венгрии (1989), ПЕН-клубов Венгрии (1990) и США (1997), Европейского общества культуры (Венеция, 1993), Международной академии поэзии (Мадрас, 1995), Всемирной академии искусства и культуры (США, Тайвань, 1994). Премия журнала "Сельская молодежь" (медаль "Золотое перо") (1983).

Газизова Лилия Ривкатовна

Родилась в 1967 году в Казани. Окончила Казанский государственный медицинский институт (1990) и Московский Литературный институт им. А. М. Горького (1996). С 1996 года по 1998 год училась в аспирантуре Института мировой литературы Российской Академии наук.

Первое стихотворение Лилии Газизовой было напечатано в газете «Пионерская правда» в 1980 году. В 1986-ом году газета «Республика Татарстан» опубликовала первую подборку её стихотворений. В 1989-м на республиканском турнире поэтов, организованном обкомом ВЛКСМ, она завоевала приз «Надежда».

Автор поэтических книг «Чёрный жемчуг» (1995), «Поэма беременности» (2000), «Лирическая поза» (2001), составитель антологий и сборников «Как время катится в Казани золотое...», «Современная татарская поэзия» и «Современная татарская проза», «Из века в век. Татарская поэзия». Важное место в творчестве поэта занимают переводы татарской поэзии на русский язык.

Она переводила стихи таких известных поэтов, как Дэрдемнд, Сажида Сулейманова, Ренат Харис, Равиль Файзуллин и многих других. Выпустила первый в Татарстане компакт-диск поэзии “Я была почти инфантой”. По сценарию Газизовой в Москве снят первый в России поэтический видеоклип на стихотворение “Княжна”. Поэтесса также является автором сценария и ведущей многих литературно-музыкальных вечеров, в том числе ставших традиционными республиканских Пушкинских и Державинских праздников поэзии, “Осенних балов поэзии”.

Публиковалась в «Литературной газете», «Литературной России», в журналах «Дружба народов», «Знамя», «Современник», “Юность”, “Октябрь”, “Дружба”, “Простор” (Алма-Ата), “Татарстан”, “Идель”, “Сююмбике”, “Казань”, “Ялав” (Чебоксары), «Мурзилка», в альманахе “Истоки” (Москва) и др. Лилия Ривкатовна Газизова – член правления Союза писателей РТ, руководитель секции русской литературы и художественного перевода Союза писателей РТ, литературный консультант по русской литературе Союза писателей РТ, член-корреспондент Петровской Академии наук и искусств, член Союза писателей Республики Татарстан. Заслуженный деятель искусств Республики Татарстан (2009).

Лауреат Литературной премии им. Г. Р. Державина, Всероссийской премии им. Артема Боровика.

Капранов Геннадий Николаевич

Родился в 1938 году в Казани. Окончил факультет иностранных языков Казанского государственного педагогического института. Работал учителем, рабочим. Публиковался в республиканской прессе, коллективных сборниках. Автор посмертно изданных книг «Простые вещи» (1991), «Я чист, как родниковая вода...» (2008). Трагически погиб от удара молнии 25 июня 1985 года.

Алена Каримова (Каримова Алия Каюмовна)

Родилась в 1976 году в г. Кызыл-Кия Ошской области. Окончила физфак Казанского государственного университета (1999), Высшие литературные курсы Литературного института имени А. М. Горького (2009).

Автор сборника стихотворений «Другое платье».

Была участницей Фестиваля современной поэзии памяти Бориса Чичибабина (Харьков, 2004), 41-го Пушкинского праздника (Пушкинские горы, 2007), 10-го Международного биеннале поэзии (Париж, Марсель, 2009), нескольких Форумов молодых писателей России в Липках (по результатам V-го форума стала стипендиаткой министерства культуры РФ) и др.

Лауреат Первого Форума молодых писателей Поволжья (Саранск, 2006), Литературной премии им. А. М. Горького (2007).

Публиковалась в журналах «Новый мир», «Дружба народов», «Юность», «Октябрь», «День и Ночь», «Казань», «Идель» и др.

Кожевникова Роза Хабиевна

Родилась в 1950 году на станции Дельта Красноярского района Астраханской области в семье железнодорожного рабочего. После школы по комсомольской путевке уехала строить Нижнекамск – работала там каменщиком. В 1969 году поступила и три года проучилась в Казанском государственном университете на отделении журналистики, а затем в 1972 году поступила в Литературный институт им. А. М. Горького в Москве (занималась в семинарах Льва Озерова по поэзии и художественному переводу), который окончила в 1977 году.

Вернувшись в Казань, Р. Кожевникова работала в редакциях газет «Комсомолец Татарии», «Прогресс» (завод РТИ), «Рабочая честь» (объединение «Татшвейбыт»), с 1983 по 1988 годы – в литературно-драматической редакции Казанской студии телевидения. За это время она была автором и ведущей более двухсот передач собственных циклов: «Писатель и жизнь», «Литературные встречи», «Вдохновение», «Поэзия», «У книжной полки», «Литературный театр», «Палитра», «Огни рампы», «Литературные музеи Татарии». Они были посвящены творчеству писателей, художников, театральных деятелей, деятельности музеев. Приобретя большой журналистский и организаторский опыт, Р. Кожевникова в 1988 году окончила с отличием курсы повышения квалификации на Центральном телевидении в Останкино в Москве, после чего в 1989 году перешла на работу во вновь основанный республиканский молодежный литературно-художественный журнал «Идель», где с 1991 года стала заместителем главного редактора.

Роза Кожевникова обратилась к стихам еще в начальной школе, а первая публикация состоялась в астраханской газете «Комсомолец Каспия» в 1968 году. Позже публиковалась в газетах «Комсомолец Татарии», «Советская Татария», «Вечерняя Казань», в журналах «Азат хатын», «Казан утлары», «Сююмбике», «Наш современник», «Мурзилка» и др. Стихи поэтессы неоднократно звучали по республиканскому радио и телевидению.

В 1985 году в Татарском книжном издательстве вышла ее первая книга стихов «Гроздь рябины», через три года там же – книга стихов для детей «Зимний дождик», в 1990-м – сборник «Два голоса».

Роза Кожевникова была одним из ведущих переводчиков в Республике Татарстан. На русский язык ею переведены произведения Газизы Самитовой, Хасана Туфана, Сибгата Хакима и др., татарские народные сказки, баиты, песни, пьесы... Спектакли-мюзиклы по пьесам Туфана Миннуллина «Деревенский пес Акбай» и Рафиса Курбана «Закинул я удочку...» в переводе Кожевниковой идут на сценах театров кукол Набережных Челнов и Астрахани.

В 1995 году Роза Кожевникова была удостоена почетного звания «Заслуженный работник культуры Республики Татарстан». В марте 2001 года получила диплом «Женщина года – 2000» в номинации «Упорный труд и счастье вдохновения». В 2003 году за книгу стихов «Меж светом и тьмой» в номинации

«За наиболее значительное произведение последних лет» стала лауреатом литературной премии им. А. М. Горького. Имя поэтессы вошло в Татарскую энциклопедию.

Роза Кожевникова – член Союза писателей Татарстана, правления Литературного фонда РТ, Ассоциации российских женщин, Заслуженный работник культуры РТ, «Женщина года – 2000».

Ушла из жизни в 2007 году.

Кутуй Рустем Адельшевич

Родился в 1936 году в Казани в семье писателя, классика татарской литературы Аделя Кутуя. После окончания в 1960 году филологического отделения Казанского государственного университета Рустем Кутуй работал в Татарском книжном издательстве, затем – на Казанской студии телевидения редактором литературно-драматической редакции. С 1964 года он перешел на профессиональную писательскую работу, до последних дней своей жизни возглавлял отдел поэзии журнала «Казань».

Первая книга его рассказов на русском языке «Мальчишки» увидела свет в Татарском книжном издательстве в 1961 году. В 1962 году вышел первый поэтической сборник «Я иду по земле». В издательствах Казани, Москвы и других городов было выпущено несколько десятков книг стихотворений и лирической прозы автора, среди которых "Дождь будет" (1963), "Я леплю снежную бабу" (1966), "Зов" (1975), "Лист Земли" (1980), "Рыжики в июле" (1984), "Свет в осиннике" (1988), "Корни" (1982) и многие другие. Произведения Рустема Кутуя переведены на немецкий, польский, французский, испанский, английский языки, а также многие языки народов нашей страны.

Рустем Кутуй активно работал в области художественного перевода. Он перевел на русский язык стихи татарских поэтов С. Хакима, С. Баттала, Н. Арсланова, Р. Файзуллина, Р. Ахметзянова, произведения А. Кутуя, А. Еники, а также многих современных татарских писателей.

Много сил и времени Рустем Адельшевич уделял творческой молодежи Татарстана. Благодаря его поддержке состоялись первые публикации молодых талантливых поэтов. В 2005 году за вклад в литературу и активную общественную деятельность Рустем Кутуй получил литературную премию им. А. М. Горького, а в 2009 году за книгу «Профиль ветра» он был удостоен республиканской премии имени Г. Р. Державина.

Заслуженный работник культуры РТ.

Скончался в 2010 году.

Малышев Сергей Владимирович

Родился в 1950 году в Казани в семье преподавателей Казанского химико-технологического института. После окончания в 1972 году механико-математического факультета Казанского государственного университета, работал программистом в Казанском физико-технологическом институте КФ

АН СССР, окончил аспирантуру. С 1991 года – редактор отдела республиканского молодежного журнала «Идель».

Автор книг «Листья памяти» (1984), «Всё на свете интересно» (1986), «Утренние трамваи» (1987), «Ночной разговор» (1991), «Точка отсчёта» (2000), «Что-то полосатое» (2003). За книгу «Обратный отсчет» в 2001 году был удостоен Литературной премии им. Г. Р. Державина.

Известен как переводчик. Им переведены на русский язык стихи нескольких десятков татарских поэтов, в том числе Г. Тукая, Дэрдменда, Х. Туфана, народных поэтов Татарстана Ш. Галиева, Р. Мингалима, Р. Миннуллина и др. Впервые Сергеем Малышевым сделан поэтический перевод образцов одного из замечательных жанров татарского фольклора – мунаджатов, изданных отдельной книгой «Мунаджаты» в Татарском книжном издательстве в 2005 году. Один из составителей и переводчиков «Антологии современной татарской прозы» и «Антологии современной татарской поэзии».

Член Союза писателей СССР, СП Республики Татарстан.

Заслуженный работник культуры РТ.

Ушёл из жизни в 2007 году.

Остудин Алексей Игоревич

Родился в 1962 году в Казани. Учился в Московском Литературном институте им. А. М. Горького, на филологическом факультете Казанского государственного университета. Выпускник Высших литературных курсов (отделение критики; 1993). Профессиональный журналист. Последние десять лет работает в Казани директором небольшой издательской фирмы. С 2002 года проводит в своём городе фестиваль "Сабантуй поэзии", на который приглашает не только ведущих российских поэтов, но и видных литераторов из ближнего и дальнего зарубежья.

Публиковался в российской и республиканской прессе. Выпустил шесть книжек стихов: «Весеннее счастье» (Казань, 1989), «Шалаш в раю» (Москва, 1990), «Улица Грина» (Москва, 1993), «Бой с тенью» (Харьков, 2004), «Рецепт невесомости» (Киев, 2005), «Проза жизни» (Санкт-Петербург, 2007).

Лауреат ряда литературных интернет-конкурсов, таких как Волошинский, Гумилёвский («Заблудившийся трамвай»). В 2007-м году вошёл в шорт-лист Бунинской премии. В этом же году получил литературную премию им. А. М. Горького. Последние годы активно участвует в работе крупнейших поэтических фестивалей: "Киевские Лавры" (Киев), "Берег" (Владивосток), Биеннале поэзии (Москва), Международный фестиваль поэзии на Байкале (Иркутск), "Разводные мосты" (Петербург), Биеннале искусств (Венеция), "Точка" (Набережные Челны), "Запад наперёд" (Берлин).

Трофимов Валерий Николаевич

Родился в 1960 году в Альметьевске (Республика Татарстан). Учился в Казанском медицинском институте (специализировался в интернатуре по пси-

хиатрии); в 1987-1989 годах – в ординатуре в Санкт-Петербурге. Врачебный стаж – двадцать лет, свыше десяти лет работает психотерапевтом.

С 1992 года – член Союза писателей Санкт-Петербурга. Стихи публиковались в журналах «Новый мир», «Звезда», «Смена», «Алый парус», «Идель». Участник коллективных сборников поэзии «Горизонт» (1988), «Стихи казанских студентов» (1991).

Автор книг стихотворений «Зимний город» (Казань, 1991) «Заклинание» (Санкт-Петербург, 2006).

Живет в Санкт-Петербурге.

Оглавление

Р. Копосов. Отзыв простодушного читателя.....	4
Алдошин Т. Л. Стихи.....	8
Это то, что болит.....	19
Баширов В. А. Стихи.....	25
В глубь душевную, в самую глушь!.....	35
Беляев Н. Н. Стихи.....	42
Меры и почва поэта.....	52
Бурундуковская Е. В. Стихи.....	58
Симфония души.....	68
Бухараев Р. Р. Стихи.....	75
Дали молчания.....	85
Газизова Л. Р. Стихи.....	90
Размирья и лады Лилии Газизовой.....	99
Капранов Г. Н. Стихи.....	106
И выбрал жизнь.....	116
Каримова А.К. Стихи.....	122
Другое платье Алёны Каримовой.....	132
Кожевникова Р. Х. Стихи.....	136
Наития Розы Кожевниковой.....	145
Кутуй Р. А. Стихи.....	151
Мир мифа Рустема Кутуя.....	162
Малышев С. В. Стихи.....	169
Чаши не высохнут, и нескончаем тростник.....	179
Остудин А. И. Стихи.....	186
На площади души.....	196
Трофимов В. Н. Стихи.....	203
Маятник отчаяния и надежды.....	213
Р. Мустафин. Лицом к лицу лица не увидеть.....	219
Биографические справки.....	223

Сарчин Рамиль Шавкетович

Лики казанской поэзии

Отзывы о книге можно направлять по адресу: rsarchin@yandex.ru